

АЛЕКСАНДРА
БРУШТЕЙН

ВЕЧЕРНЕ ОГНИ

©

Annotation

«Вечерние огни» — книга советской писательницы Александры Яковлевны Бруштейн — по-существу продолжают серию ее повестей «Дорога уходит в даль», «В рассветный час» и «Весна». Так же как эти книги, завоевавшие широкую популярность у читателей всех возрастов, «Вечерние огни» носят в значительной степени автобиографический характер.

Но, в отличие от трилогии «Дорога уходит в даль», куда вошли воспоминания о детстве и ранней юности писательницы, «Вечерние огни» вводят читателя в события и обстановку поры возмужалости и зрелого возраста. Здесь и революция 1905 года («И прочая, и прочая, и прочая»), и тяжелое безвременье между революцией побежденной и революцией-победительницей («Цветы Шлиссельбурга»), и бурное строительство новой культуры в первые годы советской власти («Суд идет!»). Действие последней части книги — «Свет моих очей...» — происходит в 1940 и 1960 годах.

Александра Бруштейн прожила долгую жизнь, прошла большой жизненный путь. Самым важным, самым замечательным на этом пути были, по авторскому признанию, люди. О них, о тех многочисленных хороших людях, каких встретила в жизни Александра Бруштейн, с кем она делила жизнь, труды, радость и горе, и рассказывает книга «Вечерние огни».

- [Александра Яковлевна Бруштейн](#)
 -
 - [От автора](#)
 - [1. Уездный городок под Петербургом](#)
 - [2. Сбор цветочного меда](#)
 - [3. «Старый Шлиссельбург»](#)
 - [4. «Новый Шлиссельбург»](#)
 - [5. Негласный мир хороших людей](#)
 - [6. Мастерские — выписка продуктов — библиотека](#)
 - [7. Соборное карцерное сидение](#)

- 8. Люди "нового Шлиссельбурга"
 - 9. Люди "нового Шлиссельбурга"
-

Александра Яковлевна Бруштейн
Цветы Шлиссельбурга

Памяти
Марины Львовны

От автора

Труден конец человеческого пути. И всего тяжелее — последние, вечерние версты!

Ноги устали ходить-шагать. Знобко от надвигающейся ночной прохлады. Неуютно, одиноко. И всего тяжелее — темно.

Вот тут и зажигаются они, вечерние огни. Иные светят из прошлого, — их зажигает память. Другие приветно горят из вчерашнего. Есть такие, что сверкают совсем рядом — из нынешнего. Но самые дорогие те, что угадываются в завтрашнем!

Вечерние огни снимают усталость, прогоняют холод, темноту, неуют. Потому что за ними — люди!

Здравствуйте, люди!

1. Уездный городок под Петербургом

Мы с Машей стояли у забора чьего-то палисадника на одной из улиц Шлиссельбурга. Смотрели вслед Марине Львовне.

Она уходила спокойной походкой... Но мы чувствовали, видели: она сознательно замедляет шаг, не позволяет себе идти так быстро, как бы ей того хотелось. Если бы можно, Марина Львовна полетела б на крыльях! И мы бы не удивились, если бы на наших глазах она вдруг отделилась от земли, поплыла по воздуху!

Марина Львовна отправлялась в Шлиссельбургскую крепость на свидание с единственным сыном — Володей.

Пока утром ехали по Ириновской железной дороге из Петербурга в Шлиссельбург, мы сидели в вагоне тихо, как притаившиеся мыши. Боялись помешать мыслям Марины Львовны, вспугнуть ее волнение перед свиданием. Нервы Марины Львовны, мы знали, натянуты, как струны на колках. Она и радовалась, и боялась радоваться... Ведь, прежде всего, свидание могло и не состояться. Сколько уж раз за долгие годы Марина Львовна, приехав на свидание, уходила и уезжала обратно в Петербург, как говорится, несолоно хлебавши!

Разрешение на свидание давали не чаще одного раза в месяц, а порой и реже. Разрешение находилось полностью в руке начальства или даже, вернее сказать, в его ноге: оно зависело от того, чего хочет или не хочет левая нога этого начальства. Хотела левая нога — свидание разрешали. Не хотела она этого — ну, тогда могло получиться так, как было, например, с матерью политического каторжанина Сапожникова: она приехала издалека для свидания с умирающим сыном, а ее к нему не допустили.

Конечно, официально это мотивировалось «поведением» заключенного. Но ведь качество поведения определялось оценками и требованиями все того же тюремного начальства!

Среди заключенных Шлиссельбургской каторжной тюрьмы сын Марины Львовны, Владимир, был одним из самых деятельных и влиятельных. Товарищи говорили, что он был «одним из любимцев и вожаков всей каторги». Характер, строптивый и страстный, отметал всякую попытку согнуть, покорить Владимира, заставить хоть в чем-либо поступиться своими убеждениями. Поручиться, что за время

после минувшего свидания поведение Володи могло считаться хоть сколько-нибудь удовлетворительным, было совершенно невозможно. И над Мариной Львовной всегда висела угроза: придет она в крепость, а Володя не может явиться на свидание, — он посажен в карцер. Это было не только разочарованием, — это было еще и очень грозно: «холодные карцеры» в темных сырых подвалах Светличной башни несли опасность тяжелых заболеваний, ревматизма, смертельной простуды. Не менее коварными были и «горячие карцеры» с температурой в +45 градусов. А наказания карцером начальство раздавало щедро. За годы заключения в крепости иной каторжанин проводил в карцере в общей сложности целые годы. Так, например, Ф.Н. Петров из семи лет заключения в Шлиссельбурге провел в карцере 378 дней, то есть больше года.

Зная и помня все это, мы с Машей ощущали тревогу и напряжение Марины Львовны так четко и внятно, как ночью в поле слышишь гудение телеграфных проводов.

Приехав в Шлиссельбург, мы проводили Марину Львовну до места, откуда она отправлялась дальше, в крепость, уже одна, без нас. Не прощаясь, она бросила нам на ходу:

— Погуляйте. Дождитесь меня.

Потом, словно вспомнив, Марина Львовна вернулась к нам и ласково напомнила мне:

— И пожалуйста... Да?

Я виновато опустила голову. «И пожалуйста» означало прежде всего: «Говорите не слишком громко». Как все глухнущие люди, я часто говорила — вот именно — слишком громко (и почему это мы, глухие, орем? Наверно, мы этим невольно стараемся подать пример не глухим: они часто говорят слишком тихо, не слышно для нас). Из-за этой развивавшейся у меня глухоты, помноженной к тому же на сильную близорукость, Марина Львовна обычно не брала меня в свои поездки в Шлиссельбург. В нашей «Группе помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы» я несла другие обязанности.

Тут я поехала случайно: заболела та, что иногда, в очередь с Машей, сопровождала Марину Львовну. Но чаще всего Марина Львовна отправлялась в Шлиссельбург одна.

(Напоминание Марины Львовны «И пожалуйста... Да?») имело еще и другой смысл, понятный только ей и мне. Но об этом я скажу в другом месте.)

В тот день Марине Львовне нужны были в помощь двое. На обратном пути мы должны были везти в Петербург свежесрезанные цветы из тех, что выращивались заключенными в Шлиссельбургской крепости. И конечно, я немного трусила, — возвращаться придется под вечер, — ну, как я чего-либо не услышу или в сумерках не увижу? Вдруг споткнусь, уроню поклажу, помню цветы?.. Маша часто, рассердившись, укоряла меня: «И с чего ты такая нескладная? Быть глухой и слепой — одновременно! — это верх невоспитанности!» Не знаю, как насчет невоспитанности, но что это ужасно неудобно и до невозможности досадно, — спорить не приходилось.

Марина Львовна уходила все дальше. Вот свернет сейчас в боковую улочку и станет вовсе не видна. Мы смотрели вслед, чувствуя ее тревогу, ее опасения... Только бы состоялось оно сегодня, свидание Марины Львовны с сыном!

Обставлены были эти свидания в крепости так, чтобы, если не вовсе зачеркнуть, то, во всяком случае, сколько возможно, испортить доставляемую ими радость! Мать и сын были разделены двумя высокими, почти до потолка, деревянными перегородками с прорезанным в каждой из них окошечком, — такие бывают в билетных кассах театров и вокзалов. Оба окошечка были забраны частой проволочной сеткой. В проходе между обеими перегородками все время вышагивали надзиратели, слушая разговор от слова до слова. Свидание продолжалось ровно четверть часа. Пятнадцатая минута истекала — оба окошечка захлопывались, иногда на полуслове. Слова прощания произносились уже после этого, так сказать, вслепую. Точно так же захлопывались окошечки неизбежно всякий раз, когда разговор «съезжал» к запретным темам, например касался политических новостей. Понятно, почему сын Марины Львовны, Володя, писал в одном из писем: «Эти свидания между двумя решетками и двумя часовыми — порядочная нелепость!»

И все-таки Марина Львовна была счастлива уже тем, что она видела сына, слышала его. Как ни кратко было свидание, мать успевала заметить, схватить все до мельчайшей подробности: как звучит его голос, какое у него лицо, взгляд, как выглядит на нем

арестантская одежда. Последнее было важно, конечно, не со стороны эстетической. Мать знала: Володя на редкость аккуратен во всем, также и в костюме. Если бы одежда оказалась накинутой на нем небрежно, кое-как, без обычной подтянутости, это означало бы, что настроение у него упало, в нем развивается апатия, равнодушие, безнадежность — все то, что в тюрьме «смерти подобно».

Зорко всматривалась Марина Львовна и в кандалы Владимира. «Кандалный срок» — мучительство, целиком зависевшее от произвола крепостного начальства. По инструкции, ношение кандалов ограничивалось определенным сроком, однако на деле этот срок мог быть и укорочен — это случалось чрезвычайно редко! — а порою и непомерно продлен, иногда до 8—10 лет. С того политического заключенного, Сапожникова, которому не дали перед смертью увидеться с приехавшей к нему матерью, кандалы не были сняты, хотя умирающих полагалось расковывать: кандалы сняли уже с трупа Сапожникова.

Такие люди, как Владимир и ближайшие друзья его по заключению — Борис Жадановский, И.П. Вороницын и другие, — всегда особо подчеркивали свою внутреннюю, духовную независимость от кандалов. «Решетки, кандалы и прочие жупелы, устрашающие трусливых мещан, — писал Владимир, — не имеют к истинной свободе никакого отношения». И подкреплял это словами из шекспировского «Гамлета»: «Я могу быть замкнутым в ореховую скорлупу — и все же я буду царем бесконечного пространства. Это и есть свобода!»

Конечно, при всей внутренней свободе заключенного кандалы были тягостны. Они затрудняли движения, заставляли осторожно шевелить руками и переступать ногами. Не сразу привыкали заключенные и к зловещему лязгу и звону кандалов, волочившихся по полу. И.П. Вороницын, товарищ Владимира по Шлиссельбургу, такой же бессрочный политический каторжанин, писал в своей книге «История одного каторжанина»: «Трудно передать словами то ощущение какой-то особенной легкости, которое испытывает каторжник, когда с него снимают цепь. Долгие годы цепь эта охватывала его ноги, стесняла движения, давила на поясницу, звенела и днем и ночью при сколько-нибудь сильном движении. Он с нею свыкся, она как бы вошла в плоть и кровь, стала неотъемлемой частью

его тела, без нее он уже не мыслит себя. И вдруг несколько ударов молотком по зубилу — разлетаются толстые заклепки, и он — уже не он, а совсем другой. Он движется бесшумно, без лязга и звона, тело приобретает новую гибкость и ловкость, а ноги, странно легкие и свободные, почти чужие, без повиновения и пьяно делают смешные шаги. Ноги помнят кандалы много времени после того, как они сняты. Наяву, но особенно во время сна они часто делают те осторожные движения, которые при кандалах были необходимы, чтобы не вызвать сильного нажима или не причинить боли».

Всего хуже, однако, было то, что небрежность, а иногда жестокая мстительность тюремщиков могли превращать, и часто превращали — ношение кандалов в трудно переносимую пытку. Так, наручные браслеты (наручники) попадались иногда не круглые, а овальные. Такие не могли вращаться вокруг руки, как вокруг своей оси, а впивались в запястье. Это причиняло боль, ранило и уродовало руки. Цепь, сковывавшая наручники, бывала слишком коротка. Это делало невозможным раздельное движение правой и левой рукой, приходилась двигать ими одновременно.

Вот почему Марина Львовна пристально вглядывалась в кандалы Владимира, стараясь уловить, не причиняют ли они ему излишних страданий, хорошо ли подогнаны к ним подкандалники, предохраняющие голую кожу от натирания кандалами.

— Я довольна! — сказала нам Марина Львовна после одного из свиданий. — Володя в порядке. Голос чистый. Кожа не дряблая. Глаза спокойные. Подтянутый, собранный... Молодец, не распускается!

Мы поняли: Марина Львовна гордится, любит выдержкой Владимира. Она узнает в этом свое воспитание, свою школу.

Да, воспитание, данное сыну, оправдало себя!

В конце лета 1906 года в Петербурге было совершено революционное покушение, поражающее своей дерзостью, а в то время удивить кого-либо и чем-либо казалось уже немыслимым! Это был взрыв дачи царского премьер-министра П.А. Столыпина на Аптекарском острове.

Жесточайший душитель революции 1905 года, Столыпин был ненавидим всей сколько-нибудь честной и прогрессивной Россией. В Столыпине была не только тупая, упрямая сила слепого разрушительного стенобитного тарана, — в нем была несокрушимая

уверенность в своем праве на попрание всякого права. Была в нем и своеобразная смелость зла (трусливое зло — не так опасно). Однажды в Государственной думе после запроса, внесенного левыми депутатами о еврейском погроме в Житомире, председательствующий предложил почтить вставанием память многочисленных жертв, в том числе революционера, русского студента Блинова, самоотверженно боровшегося против погромщиков и убитого ими. Встала вся Дума, все депутаты, не исключая крайних правых. Не встал только премьер-министр Столыпин — тот, кто благословлял погромы и подавал сигналы к ним. Весь зал стоял, один лишь Столыпин в министерской ложе демонстративно и угрожающе-нагло сидел! И в наступившей на миг тишине раздался голос из зала: «Один сидишь, убийца!» Выкрик этот, подхваченный прогрессивными газетами, прогремел на всю Россию, облетел весь мир.

Но что значили для Столыпина какие-то жалкие сотни, может быть, даже тысяча невинных людей, погибших в одном городе за один летний день! На Столыпине была непробиваемая броня из невинной крови крестьян, запоротых карательными экспедициями, крови рабочих и революционеров, сгноенных в тюрьмах, замученных в ссылке, повешенных, расстрелянных!

12 августа 1906 года, около четырех часов дня, по аллее Аптекарского острова катила элегантная коляска — ландо. Барственно покачиваясь на упругих рессорах и шинах, ехали в ландо жандармский полковник в адъютантской форме, при орденах, и жандармский офицер, оба молодые, красивые, державшиеся с особым нагловатым щегольством. В руках у них были портфели. Третьим ехал в ландо непременно спутник таких лиц — штатский. На козлах восседал величественный кучер с внушительной бородой и монументальным накладным ватным задом под кучерским армяком. Все эти люди не вызывали ни у кого никаких сомнений. Они были вполне в стиле района дачи царского премьера: жандармские чины и штатские сотрудники были здесь привычными деталями пейзажа. Постовые городовые козыряли сидевшему в ландо бравому жандармскому полковнику и пропускали ландо без всяких задержек.

А между тем люди, ехавшие в ландо, кроме кучера, который вместе с коляской был взят напрокат на извозном дворе, были террористы-максималисты!

Подъехав к даче премьер-министра Столыпина, ландо остановилось. Оба жандармских офицера и штатский с деловым видом вошли в приемную нижнего этажа.

И только тут возникло подозрение!

Дежурный шпик в приемной премьер-министра заметил, что у одного из вошедших борода накладная. Крикнув дежурному генералу Замятину: «Ваше превосходительство! Неладно!», он протянул руку, чтобы выхватить портфель у одного из мнимых жандармских офицеров. В ту же минуту с криком «Да здравствует свобода!» террористы высоко подняли портфели и с силой швырнули их на пол. Раздались сильнейшие взрывы — в портфелях были плоские бомбы.

Террористы были убиты на месте. Дача была наполовину разрушена. Было много убитых и раненых. Но сам Столыпин остался цел и невредим — без единой царапины!

Газеты писали об этом покушении довольно скупо, но в изобилии помещали тексты многочисленных высочайших телеграмм, полученных Столыпиным от царя и обеих цариц, от великих князей и княгинь, «и прочая, и прочая, и прочая». Во всех этих посланиях выражалась глубокая радость и благодарность божиему промыслу, чудесно сохранившему верного царского слугу Столыпина, и в особенности восхищение перед его неустрашимостью: Столыпин сразу заявил, что его не запугают, со своего поста он не уйдет и от прежней своей политики ни на одну пядь не отступит.

В этом покушении участвовал и сын Марины Львовны, Владимир: химик по образованию, он помогал в изготовлении бомб. Он же и доставил террористам портативные, плоской формы разрушительные снаряды, помещавшиеся в портфелях.

Владимир был арестован не сразу, — его надежно скрывали. Лишь спустя два месяца, 14 октября 1906 года, когда уже появилась надежда, что все, может быть, обошлось, Владимира арестовали.

В то время путь революционера от преступления до наказания, от свершения террористического акта до расправы, бывал часто почти молниеносно быстр. Схватили, судили шемякиным судом, расстреляли или повесили. Все это занимало считанные дни. Богров, убивший пять лет спустя того же Столыпина, был казнен через несколько суток. Его повесили в том же фраке, в каком он был схвачен в киевском театре в вечер убийства Столыпина. Однако путь Владимира от взрыва на

Аптекарьском острове до заточения в Шлиссельбургскую крепость оказался очень долгим: он продолжался около двух лет.

Переведенный из Выборгской тюрьмы в Трубецкой бастион Петропавловской крепости, Владимир почти целый год ждал суда. Письма и дневники его за этот период поражают спокойствием, глубиной интересов, горячей любовью к жизни. Тотчас после ареста он пишет жене записочку, в которой еще ощущается минутная первоначальная растерянность:

«Итак, мы разлучены — силой обстоятельств, лежащих вне нашей воли. Приехали какие-то люди, посадили тебя на одного извозчика, меня — на другого и увезли...»

Но тут же, словно взяв себя в руки, Владимир добавляет:

«Но что за беда! Все это минутное, случайное, все это пройдет мимо...»

Он хорошо знал, что это не так, что арест его не случайный, не минутный. Но он хотел успокоить жену, настроить ее на достойный тон. Вместе с тем спокойствие его не было наигранным. Его в самом деле трудно было вывести, вытолкнуть из ощущения крепчайшей связи с живой жизнью, полной труда и умственных интересов. В тот же первый день после ареста он пишет матери:

«Возьми у меня на квартире 2-ю часть Штирнера (перевод, начатый им до ареста. — А.Б.) и передай в жандармское управление. Если удастся получить рукопись (вероятно, забранную жандармами при обыске и аресте. — А.Б.), то работа будет сдана в назначенный срок».

Вряд ли Владимир заблуждался относительно того, каков будет приговор суда: расстрел или виселица — только всего и выбора. Но в ожидании этого он все время настойчиво и много работал: кончал перевод книги Штирнера. «Катаю по 30–40 страниц в день!» — писал он матери.

Спросите у самых трудоспособных и плодовитых переводчиков, — они объяснят вам, какая это большая и трудоемкая цифра — 30–40 страниц в день!

В эти же месяцы ожидания суда Владимир читает множество книг, заносит в свои письма и дневники много тонких, умных мыслей о самых разнообразных литературных явлениях — о «Дон-Кихоте» Сервантеса, об Оскаре Уайльде, Метерлинке, Пшибышевском, Ницше,

о нашумевшей в то время повести Леонида Андреева «Тьма». Проводит интересные критические параллели: например, между героем романа К. Гамсуна «Мистерии» и князем Мышкиным из «Идиота» Достоевского. При этом он не забывает успокаивать мать и жену относительно условий его заключения, просит мать послать Марусе (жене) белые розы в годовщину какого-то счастливого события.

Большое место в письмах Владимира занимает природа. Жена даже упрекает его за то, что он слишком много внимания отдает «любезной ему природе». Воспринимает Владимир природу в самом деле необыкновенно свежо и любовно. Собственно говоря, он ее почти не видит, — какая уж природа в одиночной камере Трубецкого бастиона! Но ведь человек богат не обилием внешних впечатлений, а своей способностью улавливать их из мельчайших деталей, воссоздавать из этих мелочей картины жизни и включать их в свой душевный мир!

«...Хорошо сегодня в лесу! — пишет он жене. — От меня виден кусочек голубого неба и освещенная солнцем стена... Хорошо в лесу!..»

Что он увидел? Всего только краешек голубого неба да тюремную стену, освещенную солнцем, а вобрал в себя целый лес, далекий, невидимый, с его весенним дыханием!

Из таких же мелких, но уже звуковых клочков встает в другом письме к жене картина окружающей его жизни в Петропавловской крепости:

...«Как тихо... Кажется, будто мир уже умер, а снится еще что-то, какие-то обрывки из этой трагикомедии...

Но нет, нет! Эти сны — тоже жизнь, везде жизнь, всегда жизнь!.. И разве здесь смерть? Но послушай, послушай только! Где-то падают капли воды, откуда-то доносятся глухие шаги, вот хлопнула дверь, голубь заворковал у окна... Разве это не жизнь?

И часы размеренным, меланхолическим боем напоминают, что есть еще время: четверть часа, и еще четверть, и еще, и еще, — так проходит жизнь... И везде она одинаково проста и одинакова сложна, и нигде нельзя определить ее направление и ее смысл, а нужно только идти, идти, идти... И только минутами бывают озарения, когда яркий свет разливается вокруг, когда все становится понятным, когда

исчезают противоположности между «я» и «ты», между «я» и миром...»

Выпал снег. И это вызывает у Владимира ощущение радости, грустной радости, обращенной в прошлое:

...«Снег... Какой родной, какой милый! Нет, нельзя выдержать, надо пойти поздороваться с ним, пойти в поле, в лес. Тебе ведь нет дела до наших мелких житейских условностей, оскорблений, враждебностей, — ты такой молодой, такой чистый!.. Да, да, пойду прямо полем, без дороги, вон к той ели... Может быть, кто-нибудь там меня поджидает... Но — кто? Не та ли девушка с зелеными глазами, которая обещала когда-то встретиться со мной? Или, может быть, у меня есть своя Гильда, которой я обещал когда-то королевство и которая придет теперь за ним?» (Из письма к жене).

...«Весна, весна! Неслышно подкрадывается она, блеснет в горячем солнечном луче, прожурчит в ручейке тающего снега, поманит в даль синевой неба и прозрачностью воздуха, — поманит робко, с грустной улыбкой о невозможности, с счастливым воспоминанием о том, что было и чего не было...» (Из письма к жене).

...«Небо пасмурно. Может быть, к восходу солнце разойдется: оно восходит теперь около двух, бросает узенькую золотую полоску на стену; она быстро растет, переходит в пятно на полу. От окна тянутся лучи, в них играют золотые пылинки, иногда влетит муха, и всеми цветами переливается перламутр ее крылышек. Но золотая полоска становится все меньше... вот уже осталась одна блестящая звездочка, — мелькнула и исчезла! Только над стеной — золотое сияние. Хорошо теперь стоять на стене и смотреть туда, вниз... Вот кто-то идет по стене, важно и чинно, точно часовой, — это ворона, черная ворона на золотом небе, остановилась, посмотрела и прошла... А колокола все звонят, тянутся фабричные гудки и пароходные свистки — длинные и короткие, угрюмые и просительные...» (Из письма к жене).

...«Дождь, дождь, дождь... Вечером так хорошо засыпать под его ровные удары! Днем он моет траву, листья — они уже такие большие! Даже липа распускается... Вот чудесно будет, когда она зацветет!..»

Здесь мысль Владимира обращается от настоящего к недалекому будущему, когда зацветет липа, сегодня уже разрывающая листочки...

А между тем время идет, приближается август — и день суда! И в этот день, вероятно оборвется всякая дорога в будущее.

Никаких надежд у Владимира нет. «Переводом занялся бы с удовольствием, — пишет он в письме к матери, — но не знаю, удастся ли, — главное, хватит ли времени?»

Что означают эти слова? Как это может «не хватить времени» в тюрьме? Все объясняет дата письма: «1» июня 1907 года». До суда и приговора остается два месяца. Успеет ли он закончить перевод в два месяца? Нет у него иллюзий и относительно исхода суда. «Ужасно наивно думать, — пишет он жене, — будто две-три фразы защитника могут повернуть все дело! Лично я убежден, что приговор уже предрешен».

Кончается это письмо знаменательной фразой: «А о жизни не просят, — это так, — молчат». Естественная робость удерживает сегодня от расшифровки этих писем, таких глубоких и мужественных. Но возможно кажется мне, такое объяснение этой последней фразы: Владимир не сомневается в смертном приговоре и напоминает своим близким, что после приговора нельзя, недопустимо «просить о жизни», то есть подавать «на высочайшее имя» прошение о помиловании.

21 августа 1907 года в Санкт-Петербургском военно-окружном суде слушалось дело «сына статского советника бывшего студента Петербургского университета Владимира Лихтенштадта, обвинявшегося «в пособничестве производству взрыва на Аптекарском острове». Суд вынес Владимиру приговор: смертная казнь через повешение.

Ожидание исполнения приговора растянулось почти на полгода. Полгода смертник Владимир Лихтенштадт ожидал казни, сидя все в том же Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Вряд ли можно придумать казнь горше этой! Каждый день, вернее, каждая ночь, потому что казни совершались на рассвете, могла оказаться последней. Даже очень сильные люди, превосходно державшиеся на допросах и на суде, с трудом выносили эту пытку ожидания казни, когда, по слову древнего раскольничьего песнопения, «стоит секира при корени».

Владимир показал в этом мужество, не частое даже у героических людей. В ожидании казни он работал над переводом книги немецкого философа Отто Вейнингера «Пол и характер». Перевод был закончен

точно в срок, — книга была издана. В предисловии к ней критик А.Л. Волынский упомянул о том, что автор перевода, молодой ученый, находится временно вне жизни по причинам, от него не зависящим. Волынский не мог назвать имя этого молодого ученого. Однако оно огласилось, люди его узнали.

После полугодичного ожидания приведения приговора в исполнение было объявлено: казнь заменяется вечной каторгой, отбываемой в тюрьме Шлиссельбургской крепости.

Такое смягчение приговора было неожиданностью. Владимир на суде от защитника отказался. Он не только не старался выгородить себя, оправдаться, но, наоборот, считая себя погибшим все равно, принимал на себя вину некоторых других обвиняемых. Тем не менее он произвел такое впечатление на суд — на такой суд! — что судьи от себя ходатайствовали о смягчении его участи.

Казнь была заменена пожизненным заключением.

Сама Марина Львовна тоже была арестована вскоре после ареста сына. Ее посадили в Петербургскую женскую тюрьму, так называемый Литовский замок. Здесь, в общей камере, среди воровок, содержательниц притонов и публичных домов, проституток-хипесниц, в грязи и матерщине, под истерические вопли и страстные драки, в не отпускающей ни на миг смертельной тревоге о судьбе сына, Марина Львовна продолжала писать труд, начатый еще на свободе.

Однажды я спросила, как же она умудрялась писать в такой страшной обстановке.

Марина Львовна ответила:

— Людям все можно объяснить. Я рассказала им, о чем пишу, для чего это нужно. Попросила их: «Дайте мне спокойно работать два часа в день!» Они изо всех сил старались сдерживаться целых два часа — не шуметь, не драться, не ругаться... Можете мне поверить, это давалось им не легко! Но я работала ежедневно! Людям все можно объяснить.

Через некоторое время Марину Львовну выпустили.

Тут, начиная с «навечного» заточения сына в Шлиссельбургской крепости, начался для Марины Львовны новый этап в ее судьбе — казалось, тоже «навечный». Ведь тогда никто не знал, что через одиннадцать лет — в 1917 году — победившая революция раскроет

все тюрьмы, даже Шлиссельбургскую крепость! В ту полосу чернейшей реакции никто не мог даже и мечтать об этом.

Узники были заключены в крепость навсегда. Некоторые из жен начинали жизнь сизнова, как вдовы: они выходили замуж. Кто мог осудить их за это? Но матери были пригвождены к своему горю тоже пожизненно. Навечно.

...Почти все, что составляло до этой поры жизнь Владимира, умерло: люди, мысли, чувства. Умерли даже слова. Не только самые большие, дорогие, но даже и не очень значительные, простые. Стало, например, невозможным 1 января написать близким: «Поздравляю с Новым годом!..» Слово «поздравляю» звучало теперь оскорбительно-праздничным, нахальным, кощунственным... Даже короткое «С Новым годом» тоже было бестактно. Так появилась новая формула: «Новый год, Маруся»... Простая календарная констатация: год кончился, начался другой.

...Узник шагает по своей камере. Шесть шагов от двери до окна, шесть шагов обратно. Небольшое квадратное окно вделано очень высоко, — нижний край рамы находится выше головы заключенного, круто срезан — ни ухватиться, ни подтянуться. В камере нет углов: они заделаны для того, чтобы узник нигде не мог укрыться от глаз тюремщиков, непрерывно заглядывающих в «волчок».

«Когда я хожу по камере, — пишет Владимир в дневнике, — кажется, будто мои шаги — все, что осталось от меня. Раз-два-три-четыре... Раз-два-трй-четыре... Больше ничего... Раз-два-три-четыре-пять... Шаги, шаги, шаги... А крыльев больше нет! Но осталось же что-нибудь и за шагами? Вероятно, только одно: вечная непримиримость, «последняя гордость» (Геббелево определение Страдания)... Что же, только и остается вслушиваться в шаги и мысли, что думаются во мне под их припев... Раз-два-три-четыре-пять...»

Узник шагает по камере... Кто сосчитает пространства, отмеряемые им в этом непрерывном хождении по тесному загону! Кто-то из узников «старого Шлиссельбурга» — до революции 1905 года — подсчитал, что за двадцать лет заключения он обошел двенадцать раз вокруг земного шара по экватору!

Однако и в этом хождении, безнадежном и бесцельном, душе заключенного открывается какой-то просвет! На звон его кандалов откликается такой же ровный, мерный звон, похожий на

металлический дождь. Это в своих камерах шагают другие заключенные. Это голос живой жизни! Он напоминает о том, что жизнь есть и здесь, в бессрочной, «навечной» каторжной тюрьме. На Шлиссельбургской каторге есть люди! Товарищи, друзья...

По самой природе своей Владимир был создан для того, чтобы жить среди людей и в особенности для людей. В каторжной тюрьме множество дел, нужных для людей, необходимых им как воздух, как жизнь. Владимир окунулся в это с головой. Библиотека, кружки, школа, мастерские, цветники, огороды, чужие болезни, чужое горе, чужие обиды — все это звало, требовало, подсказывало немедленные действия, немедленное участие, немедленную борьбу и протест.

Сейчас приведем только одну запись из его дневника — от 31 декабря 1910 года:

«Новый год! В первый раз за эти годы — на людях (в общей камере. — А.Б.). Вечер провели в гаданьях и шутках. Сейчас лежим, некоторые спят, но в 12 часов все-таки «встретим»...

Там, в глубине, все то же... И при наружном веселии — гробовая тишина. Никаких пожеланий, ничего, ничего...

И все-таки — да здравствует жизнь!

Вот он и пришел. Тихо, шепотом, но все-таки «шампанское» (лимон, сахар, конфета), все-таки чокнулись.

...Здравствуй, Новый год!..»

В этой записи — еще «при наружном веселии — гробовая тишина, никаких пожеланий, ничего, ничего». Но придут дни, когда дневниковые записи и письма снова будут говорить о надежде, об ожидании радости — о жизни!

То же происходило — уже опосредствованно, через Владимира, — и в Марине Львовне. Сын был заживо погребен в крепости. Вся энергия матери устремилась к тому, чтобы помочь ему выстоять, выжить, к тому, чтобы стать хотя бы ниточкой между ним и внешним миром. Мать писала Владимиру письма; это были письма-диссертации, письма-трактаты — обо всем решительно: о жизни, о науке, о литературе, театре — даже (эзоповым языком!) о политике. Письма ее включали выдержки, выписки, переводы целых научных статей, необходимых для занятий Владимира в тюрьме. Встречались иногда в письмах матери переписанные от руки из книг и журналов лучшие произведения художественной прозы. Сын советовался с

матерью по тем научным трудам, которые писал в тюрьме, об эпиграфах к отдельным главам своей книги о Гёте. Он посылал ей длинные списки книг, нужных для него лично и для крепостной библиотеки, рецепты лекарств и очков для всех заключенных Шлиссельбургской крепости. Марина Львовна доставляла ему семена цветов, овощей, японского газона, луковицы лилий и тюльпанов, клубни георгинов — для цветников, которые разбили заключенные. Она добывала и доставляла в тюрьму множество самых разнообразных вещей, включая метроном, понадобившийся для тюремного хора, или картон для устройства библиотечной картотеки. Марина Львовна добывала все, что могло служить «отдушиной» вечнику Владимиру и его товарищам по заключению.

Душа у Марины Львовны была богатая, щедрая. Она вобрала в себя, усыновила всех товарищей сына. Свою материнскую энергию она распространила на сотни людей одной с ним судьбы. Всем им, так же как ее Володе, грозили голод, болезни, моральное одичание из-за одиночества, насильственного отрыва от жизни и работы и, как результат всего этого, обычные спутники долгого заключения: цинга, туберкулез, психические заболевания, самоубийства.

Бороться одной против всего этого было бы для Марины Львовны — да и для кого угодно — не под силу. Но она верила в людей, и люди пришли помогать ей.

Так возникла «Группа помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы». Группа эта была одной из многих ячеек разветвленной по всей России нелегальной организации политического Красного Креста.

Начинала работу в 1908 году Марина Львовна одна. Постепенно к ней присоединялись остальные; вернее, она включала их в свою «Шлиссельбургскую группу».

Меня она включила в 1909 году — десятой и последней.

2. Сбор цветочного меда

И вот мы с Машей в ожидании возвращения Марины Львовны бродили по улицам и улочкам города Шлиссельбурга.

Маша уже бывала здесь раньше с Мариной Львовной. Я впервые увидела в тот день Шлиссельбург-городок, и он положительно ушиб меня своим убожеством! Главное, где? В каких-нибудь шестидесяти верстах от Петербурга!

Как всегда при выезде хотя бы совсем недалеко за пределы «Северной Пальмиры», передо мной в тот день возникло горестное открытие, что столицы и большие города — лишь островки цивилизации в бескрайнем океане Российской империи, вроде крохотных родинок на исполинском ее теле, заросшем грязью, болезнями, паршой бескультурья и безграмотности.

Страшная вещь уездность! Рядом с блистательным Санкт-Петербургом, городом удивительной красоты и пышности, до чего убогими казались уездные городки той же Петербургской губернии: Луга, Гдов, Новая Ладога, Ямбург, Шлиссельбург. Почерневшие от времени деревянные домишки — в противоположность человеку неокрашенное дерево с годами не седеет, а чернеет, — и рядом с этой мертвой чернотой кружевные филейные занавески на оконцах, словно кокетливо подрисованные губы, пытающиеся прикрыть черноватые гнилые зубы.

Церкви, повязанные облезлыми луковками византийских куполов, как стряпухи — линиялыми платочками...

Казалось бы, исключением должны быть такие уездные города, как Царское Село, Павловск, Петергоф, Гатчина, — иначе говоря, парадные резиденции императорского двора. Но каждый из этих городков включал словно два мира, совершенно чуждые друг другу, ни в чем не сливающиеся, несхожие, как лицо и изнанка. Лицо — бесподобно прекрасные дворцы царей, особняки аристократии, неповторимые парки. Изнанка — глубоко провинциальная, уездная глушь, обиталища людей, живущих здесь не только в «сезонное» время, но круглый год: дачевладельцев, мелких чиновников и торговцев, дворцовой прислуги и челяди, а также семьи целой армии

«гороховых пальто» — полицейских шпииков, охранявших жизнь и покой императора и его семьи.

При проезде царских экипажей по улицам семьи шпииков изображали народ: жены их махали платочками, «шпиичьи дети» приседали в книксенах. И на этом втором лице — вернее, на изнанке дворцовых городков — поражали те же домики, похожие на червивые грибы, и незамошенная базарная площадь, над которой даже в неторговые часы упорно держалась пронзительная вонь от навоза и конской мочи.

Еще более уездным и обездоленным предстал передо мной в тот первый день Шлиссельбург... Не знаю, многое ли тогда изменилось в нем с тех времен, когда он и городом-то еще не именовался, а был всего лишь Спасогородненским Погостом (полноправным уездным городом Шлиссельбург стал только в 1755 году). В описываемое же мною время (1907–1917 гг.) в Шлиссельбурге было 5285 постоянных жителей, три православных церкви, ситценабивная фабрика, гостинный двор и три министерских училища.

Но была все-таки в этом жалком городишке одна черта — так сказать, на особицу! Эта черта не только подчеркивала серенькую уездность Шлиссельбурга, не только контрастировала с нею, — она заставляла совершенно забывать это убожество. Между правым и левым берегом Невы, на песчаном низменном островке в ее истоке, стояла Шлиссельбургская крепость... Словно возникая прямо из невских вод, возвышались высокие крепостные бастионы, стена с башнями — Российская Бастилия!

Это была книга — многовековая каменная книга, из тех, о которых давно сказано: «Есть немые книги, — в них о правде кричит кровь!..»

С того места, где мы стояли с Машей, увидеть крепость было невозможно. Но мы словно видели ее, словно читали мысленно надпись над входом: «Государева».

В официальных актах императорского русского правительства Шлиссельбургская крепость именовалась: «Безысходная». До 1905 года в самом деле почти никто не вышел из нее ни живой, ни мертвый. Замученных, повешенных, расстрелянных хоронили тут же, в крепости. Так, было известно — под стеной похоронены Степан

Балмашев, Иван Каляев и другие герои-революционеры. Кости их не найдены и до сих пор.

Мы стояли с Машей, мы не видели и не могли увидеть крепость, но как замороженные смотрели в ее сторону. Нам казалось, мы видим ее в облаках, в нагромождении сказочных дворцов на белесом северном небе... Это была Валгалла древних сказаний — величественное жилище ушедших героев! И рядом с этим сказочным великолепием — ну где он был, Шлиссельбург, уездный городишко Петербургской губернии, с его гостиным двором и тремя министерскими училищами для 112 мальчиков и 67 девочек!

Маша заговорила первая. Она уже давно пофыркивала оттопыренными губами и время от времени сердито передергивала плечами. То и другое было у нее грозным признаком: Маша волновалась. Волнение изменяет природу человека, иногда очень значительно. Нахалы, волнуясь, начинают порой заикаться, грубияны плачут, и Маша, самозабвенно добрая Маша, когда волновалась, начинала злиться, как старая дева!

Я осторожно молчала, — попадись Маше на язык в такую минуту! Пусть, ждала я, сама скажет, в чем дело. Маша в самом деле заговорила:

— Она мне вчера сказала...

«Она» — это, конечно, Марина Львовна.

— Доктор ей предложил...

Тут Маша почему-то вдруг замолчала.

— Ну что? Что предложил ей доктор?

Маша ответила не сразу:

— Если она привезет свидетельство от врача по ушным болезням... О том, что она плохо слышит...

— А она плохо слышит? — огорчилась я.

— Да нет же! — рассердилась Маша. — Перебиваешь, не даешь слова сказать! Что ты выдумываешь? Она слышит отлично. Но надо, понимаешь, привезти в крепость такое свидетельство, будто она не слышит... Тогда доктор добьется для нее разрешения на свидание без решетки!

— Не может быть! — выпалила я с восторгом.

— Не ори! — строго напомнила Маша. — Что тебе Марина Львовна сказала? «И пожалуйста», — она сказала. Помнишь?

— Она получит свидание без решетки? — спросила я тише.

— Нет, не получит. Доктор предложил, но она отказалась...

— Отказалась? Почему?

— Она говорит... — Маша начала рубить слова с усилием, ей хотелось плакать, но не хотелось, чтобы я это заметила. Она понимала, что я замечаю, и от этого сердилась на меня же! — Она говорит... Столько лет прошло! Если она опять почувствует сына вот так, близко от себя... — Маша крепко прижала руки к груди. — Она, говорит, не выдержит, умрет... А она не имеет права... Триста политических!.. Она не одному своему сыну мать...

Мы стояли с Машей на улице. Не глядя друг на друга, отвернувшись в разные стороны.

Никто не видел, что мы плачем. Курицы самозабвенно купались в пыли, как дамы-курортницы в Черном море. Лохматая дворняжка с остервенением выкусывала из шерсти блох. Где-то, в одном из палисадников, дети, играя, горланили песню в подражание колокольному звону:

Поп Мартын!

Поп Мартын!

Попадья Маланья, попадья Маланья!

Поп Мартын!..

Поп Мартын!..

Цветы мы доставили в Петербург вполне благополучно. Ночь они провели в ванне с водой и утром были свежие, словно сейчас только срезанные.

С утра одни из членов нашей «Шлиссельбургской группы» составляли букеты, другие разносили их по городу. Мы с Машей, как всегда в таких случаях, ходили вместе. Выйдем из дома, неся каждая не более чем по одному букету. Снесем цветы по двум адресам — и обратно, за новыми цветами.

Разносили мы цветы «по хорошим людям». Одни добровольно, охотно, иные с радостью давали на нашу работу деньги, иногда не малые. Кто они? Писатели, врачи, артисты, инженеры, общественные деятели. Адвокаты — члены так называемой «Организации

политических защитников». Организация эта была большая, широко разветвленная по России. В нее входили виднейшие адвокаты, они выступали во всех политических процессах, где бы те ни слушались, выезжая для этого иногда в отдаленнейшие местности и города. Наконец, мы обходили и просто «богатых сочувствующих», — в то время таких было еще много. Этот наш «сбор цветочного меда» — хотя мы никогда и нигде не просили денег, так сказать, напрямую — производился несколько раз в лето и был одним из нерегулярных источников дохода нашей «Шлиссельбургской группы».

Первым в этот день в нашем списке, — списка, конечно, не существовало, он хранился в памяти, — был Евгений Иванович Кедрин, один из защитников по делу «первомартовцев» (участников убийства царя Александра Второго 1 марта 1881 года).

В приемную, куда нас ввели в ожидании хозяина, вышел старик, уже совершенно равнодушный ко всему, но прекрасно воспитанный, отменно учтивый. Смотрел он на нас, склонив набок голову, в выцветших глазах был нерастопимый лед скуки. Но маскировал он эту скуку сугубым вниманием и безукоризненной предупредительностью. Он ничего от нас не ждал — ну, пришли две курсистки, — вероятно, сбор в пользу чего-нибудь или билеты на концерт, устраиваемый кассой взаимопомощи Высших женских курсов. Выходя к нам в приемную, старик, вероятно, уже приготовил и положил в карман сакраментальную трехрублевку.

Мы поднесли цветы. Объяснили, что они выращены заключенными Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Присланы цветы ему, Евгению Ивановичу Кедрину.

Что-то дрогнуло в безукоризненной маске равнодушной благовоспитанности. На щеках выступили пятнышки коричневатого румянца. Глаза потеплели.

— Да, да... — сказал он негромко. — Это — хорошие воспоминания, хорошие... Первомартовцы... Какие люди были! Перовская, Желябов, Кибальчич... Да и не одни первомартовцы! Там, вероятно, и теперь немало моих бывших подзащитных!

Старик взял наш букет. Приложил цветы к щеке, постоял так несколько секунд, словно прислушиваясь к голосам, давно отзвучавшим. Он был искренне взволнован.

Мы молчали. Мы тоже были взволнованы.

— Разрешите мне... — сказал он, вынимая из бокового кармана бумажник. — Разрешите мне в меру моих сил участвовать в вашей работе.

Он подал нам двадцатипятирублевую бумажку. Это была большая сумма, — даже богатые люди не всегда жертвовали так щедро.

На прощание он поцеловал каждой из нас руку.

— Чудный старик! — сказала с чувством Маша, когда мы вышли на улицу. — Но, конечно, старый кринолин! Лапы нам поцеловал, комик!

Следующий наш визит был к Юлии Лазаревне Римской-Корсаковой. Ученица знаменитого композитора, Н.А. Римского-Корсакова, и жена его сына, сама талантливый композитор (Юлия Вейсберг), она была очень примечательный человек. Необыкновенно способная и одаренная в самых разнообразных отраслях — искусстве, науке, на редкость импульсивная, непосредственная, действительно добрая и сердечная. Я знала её давно — еще с курсов Лесгафта, где мы обе учились одно время. Юлия Лазаревна была человеком состоятельным, но ее готовность щедро прийти на помощь всем вообще и революции в частности была совершенно необычна, удивляла. Как-то, уезжая за границу, Юлия Лазаревна передоверила мне заботу о ее подопечных, — надо было во время ее отсутствия пересылать им ежемесячно оставленные ею для этого деньги. Я удивилась тогда, как много было у Юлии Лазаревны этих подопечных, главным образом членов семей казненных революционеров. Однажды, например, я переслала по ее просьбе деньги семье машиниста Ухтомского (кажется, дочери его). Удивляли, помню, и размеры этой помощи, исключительно щедрой.

Была у Юлии Лазаревны одна черточка, восхищавшая, просто умилявшая меня. В то время мне ежедневно приходилось иметь дело с людьми «дающими». Казалось бы, простая вещь, у всех одинаковая. А вот нет, одинаков только жест, но в нем — большая гамма разнообразных оттенков, разнообразных сопровождающих эмоций. Кто дает радостно, сердечно, кто хладнокровно, а кто и с еле уловимым привкусом внутреннего торможения... Редко видала я, чтобы даже очень богатый человек, жертвуя хотя бы на самую святую цель, не сознавал при этом, что вот какой он хороший, очень хороший, даже удивительно хороший человек! Он ничего не скажет, он держит

себя скромно и просто, но ты чувствуешь, что он все время помнит, какой он молодчага, какую большую сумму он отгрохал! А вот Юлия Лазаревна давала не только много, но так легко, словно пятак обронила! Это не манера, не стиль поведения, это моральная окраска человека, и именно в те годы я навсегда научилась уважать и ценить таких людей.

Увидев меня и Машу — с цветами! — Юлия Лазаревна заговорила, как всегда, обжорливо-быстро, сразу обо всем, громко, весело, вкусно:

— Дорогие мои! Вот чудесно! Вы пришли адски некстати, — я в самом разгаре работы... Впрочем, вы, конечно, по обыкновению, не в гости, а по делу, да?.. Ох, цветы! Мне? — обрадовалась она и тут же догадалась: — Оттуда? Да? Замечательно!

Так же стремительно она сунула нам пятьдесят рублей и выпроводила нас на лестницу. Потом снова открыла входную дверь, выбежала на площадку, послала нам вслед множество воздушных поцелуев, крича что-то веселое и ласковое, и скрылась.

...Вот пишу это уже спустя полстолетия. Люди возникают из прошлого, из темных кладовых моей памяти. Какая-то ассоциация, почти неуловимая, как короткий век зажженной спички, вспыхивает на мгновение во мраке и освещает этих людей, уже не существующих, уже ушедших. Так вспомнилась мне сейчас, как живая, Ю.Л. Римская-Корсакова, погибшая в Ленинграде в годы блокады...

Вслед за посещением Юлии Лазаревны день, начавшийся так благоприятно, стал понемногу тускнеть, — пошла полоса неудач. Кое-кого мы не застали — уехали на дачу, отлучились из дома. В иных квартирах у горничных был смущенный вид, они говорили: «Нету дома... нету», и мы догадывались, что наш визит, скажем мягко, не вызывает у хозяев восторженного экстаза! В этих случаях, спускаясь обратно по лестнице, Маша говорила мне, как я это называла, «развратным шепотом»:

— Ты поняла?

— Да... — подтверждала я мрачно. — Хозяева обрадовались нам до потери сознания: от радости им даже показалось, будто их нет дома!

Не застали мы — в самом деле не застали, она не стала бы прятаться! — Денисову. Жена известного богача, она была одной из

лучших наших «клиенток», — так сказать, козырный туз нашей кассы. Я приходила к ней не только в определенные ею дни, — по собственному желанию, она делала регулярные денежные взносы на работу «Шлиссельбургской группы». Но и помимо этих регулярных взносов я приходила к Денисовой всякий раз, когда нам бывала экстренно нужна большая сумма денег, например представлялась возможность сделать внеочередную передачу для всей тюрьмы, купить большую партию книг для библиотеки, лекарств для больницы, — одним словом, когда, как говорят моряки, предстоял «аврал» и надо было «свистать всех наверх». В таких случаях мы устремлялись к особо испытанным друзьям нашего дела, и я едва ли не к одной из первых прибегала к Денисовой. Не помню такого случая, когда бы она мне отказала.

Мы были с нею почти незнакомы, нас связали какие-то общие друзья, — они дали мне ее адрес, уверили меня: она не откажет, она сочувствует. Они же предупредили ее, что я к ней приду и мне можно доверять. Визиты мои к ней бывали так кратки, что я еле успевала ее разглядеть. Встречала она меня очень приветливо, ни о чем не расспрашивала, вручала крупную сумму, «спасибо», «до свидания» — и я уходила.

Несомненно, Денисова помогала нашей группе не только оттого, что ей некуда было девать деньги. Нет, она настоящим образом сочувствовала, радовалась возможности помочь заключенным революционерам-шлиссельбуржцам. На иную помощь она не замахивалась. У меня иногда мелькала мысль, что Денисова могла бы принимать более активное участие в нашей работе, используя связи и влияние своего мужа. Ему — как Каннитферштану! — принадлежали банки, фабрики, имения, даже не то Алупка, не то Гурзуф. Но Денисовой это, очевидно, не приходило в голову, а я не считала возможным что-либо ей подсказывать.

В тот день мы с Машей не застали дома и Денисовой! По словам лакея, она выехала зачем-то на часок из дома. Мы оставили ей цветы, попросив поставить их в воду.

На улице Маша ворчала:

— Твоя хваленая Денисова! Очень нужно было оставлять ей цветы...

Дальше наш «сбор цветочного меда», как называли это в нашей группе, начал катастрофически мельчать. Таких сумм, какие мы получили от Е.И. Кедрина и Ю.Л. Римской-Корсаковой, нам уже в тот день больше нигде не давали. Мы радовались уже не только «красненьким» (десятирублевкам), но и «синеньким» (пятирублевкам).

Маша все больше мрачнела.

— Машка! — шептала я ей в перерывах между неудачными «визитами». — Перестань улыбаться зловещей улыбкой Джиоконды!

Наконец уже под вечер мы привезли цветы знаменитому адвокату О. Грузенбергу, защитнику во многих крупнейших политических процессах. Был уже вечер, мы с Машей устали как собаки, бегая весь день по городу. Мечтали: отдадим цветы, получим, конечно, солидный куш — и домой!

Нас ввели в будуар. У туалетного столика сидела в пеньюаре жена адвоката, — ее причесывал парикмахер. Она собиралась куда-то на вечерний прием. Ослепительная красавица цыганского типа. Такою написал ее художник В.А. Серов на знаменитом портрете, где изобразил ее вместе с мужем. Она извинилась перед нами за то, что принимает нас так, по-домашнему, долго и весело щебетала, перепархивая, как пестрый колибри, с одной темы на другую. Мы смотрели на нее очарованными глазами, — бывает же на свете такая красота!

Красавица тактично не спрашивала нас, зачем мы к ней пришли. Мы тоже молчали об этом, — нас стесняло присутствие парикмахера и камеристки. Сидели перед ней дуры дурами, расплывшись в восхищенной улыбке, перекладывая букет из одной руки в другую.

Наконец Маша, которой это начало надоедать, спросила, нельзя ли нам увидеть адвоката Грузенберга?

— А его нет в Петербурге! — сказала красавица Кармен. — Он уехал на три дня...

В это время парикмахер и камеристка вышли из комнаты. Мы объяснили, что именно нас привело, поднесли красавице цветы. Рассказали, что это цветы Шлиссельбурга, предназначавшиеся ее мужу.

— Прелестные цветы! Спасибо!

Мы подождали еще немного. Думали, она поймет, как ей следует поступить в этом случае...

Нет, Кармен не поняла. Она еще раз поблагодарила, обещала непременно рассказать мужу о нашем приходе:

— Непременно-непременно! Он будет очень рад...

И — все. Мы ушли. Через всю анфиладу комнат — цепочкой: впереди шла горничная, показывавшая нам дорогу в переднюю. За ней шла я, очень разогорченная, — я отлично понимала, что на улице меня ждет очередное Машино вулканическое извержение: «Потеряли столько времени! Даром пропал букет! Эта дура не поняла...» Заключала шествие Маша, она почему-то плелась очень медленно, отставая от меня.

На улице мы поглядели друг на друга. Маша была в отличном настроении! Оказывается, уходя, она захватила и унесла с собой наш злополучный букет!

— Машка! Какой стыд! А вдруг горничная видела, что ты уносишь цветы!

— А хоть бы и видела! — вздернула Маша плечом. — Такие цветы... Разве можно отдавать их кому попало? Завтра утром снесем их кому-нибудь толковому...

Все-таки мы решили не ждать до утра, — цветы могут завянуть. Меня вдруг осенило: тут неподалеку живет Генриетта Паскар. Она несколько раз звонила мне по телефону, она слыхала обо мне от общих знакомых, очень хочет познакомиться... Она — начинающая писательница...

— Маша! Мы идем к Генриетте Паскар! Пристроим свой последний букет... «Еще одно последнее сказанье». Веселей, Маша! Наверное, дадут чаю!

Наша встреча с Генриеттой Паскар началась сердечно и взаимно симпатично. Она очень обрадовалась нам, к особенностям Маше, которая иногда печатается в газетах. «Как же, как же! Я всегда читаю! Я в восторге». Букет она сразу поставила в вазу, хотя явно пропустила мимо ушей объяснение, откуда цветы...

Мы сидели в изящно обставленной комнате, в уютных креслах, пили чай — о нем мы с Машей мечтали уже несколько часов! — и слушали хозяйку. Было приятно, что она не добивалась наших реплик, — мы так устали, говорить нам не хотелось. А хозяйка тараторила, тараторила, заливалась, как ксилофон... Тилибом-тилибом-тилибом-бим-бим-бим-бом!..

— Сейчас я изучаю произведения Жерара де Нерваль... Изумительный!..

— ...Это — мои последние фотографические карточки... Вы находите, я не похожа? Вы не можете судить... Таким взглядом, как на этой карточке, я смотрю только на мужчин...

— ...Сейчас я прочитаю вам кое-что из моих вещей...

И полились ее «вещи», вернее, «вещицы», коротусенькие стихотвореньица в прозе, по-русски и по-французски. Некоторые даже с сюжетиком. Например, «Перчатки»...

...ОН и ОНА только что познакомились где-то в гостях, — он увозит ее с собой в свою роскошную загородную виллу, роскошно обставленную роскошной мебелью, бесшумными коврами, дискретными драпри, драгоценными вазами... Ночь они проводят там... «О, какие у тебя вдохновенные руки! — стонет он среди всевозможных других восклицаний. — О, какие! О, какие!..»

«О, какие у тебя страшные зубы, бабушка!..» Что за вздор! Это не Генриетта Паскар прочитала вслух, это я, задремав, вдруг вспомнила из «Красной Шапочки»...

Смотрю на Машу, у нее тоже напряженная улыбка человека, борющегося со сном.

Нет, что-то я, видимо, проспала, прохлопала... Потому что ОН и ОНА уже идут, гуляя, по Невскому. Ага, это уже утром, после вдохновенной ночи, ОН привез ЕЕ в город. Они проходят мимо перчаточного магазина. Заходят. ОНА примеряет разнообразные перчатки. О, как прекрасно они облегают ее вдохновенные руки! «Заверните эти... и те... и еще замшевые... и шведские... и те, серые, и беж...» ОН платит по счету. ОНА садится на извозчика и уезжает к себе домой... ОН стоит на тротуаре, глядя вслед отъезжающей пролетке, «судорожно комкая в руке счет на солидную сумму, уплаченную ИМ за ЕЕ перчатки...»

— Ничего не скажешь! Вдохновенные руки! — вдруг неопределенно изрекла Маша.

— Вам нравится? — обрадовалась хозяйка? — Один критик сказал мне, что рассказ «Перчатки» — чистейший Мопассан!

— Ну, вы, наверно, смотрели на этого критика взглядом еще похлестче, чем на той фотографии!

Надо было срочно уходить от «начинающей писательницы». У Маши играла на губах агрессивно-тенденциозная улыбка. К тому же мы с ней еле стояли на ногах от усталости.

Я откашлялась, напомнила Генриетте Паскар:

— Вероятно, наши общие друзья говорили вам, что я — гость не бескорыстный?

Как только разговор зашел не о ней самой, Генриетта Паскар сразу завяла.

— Да, да, что-то такое они мне говорили... — проямлила она, поскучев. — Вы собираете деньги на каких-то сирот... или что-то в этом роде, да?

Я терпеливо объяснила, что такое Шлиссельбург, в чем состоит наша работа, которая требует денег...

Она порылась в сумочке, пошуршала денежными бумажками, — ей, видимо, все попадалась не та, какая была нужна.

— Пожалуйста! — протянула она мне трешку.

Лет десять спустя, уже после Октябрьской революции, Генриетта Паскар стала очень известна: она возглавляла один из первых по времени советских театров для детей в Москве. Не знаю, чем так привлекло и увлекло ее «коммунистическое воспитание смены», бывшее лозунгом этих театров.

Не знаю и того, каким «взглядом» смотрела она на детей. Нет, впрочем, знаю: равнодушно-неумным. Потому что театр, ею возглавляемый, был плохой, слюняво-слащавый театр, еще не научившийся уважать своего зрителя. Такими же были и печатные высказывания самой Генриетты Паскар о детском театре.

«Пусть невинные детские глазки, — писала она, — не видят грубой действительности! Пусть их ласкает волшебная мечта!..»

То крыло работников детского театра, к которому принадлежала я, объявило непримиримую борьбу против оболванивания «невинных детских глазок» волшебной мечтой. Борьба эта длилась не долго. Поиграв немного в революцию и коммунистическое воспитание, Генриетта Паскар очень скоро эмигрировала за границу.

Что делали там ее вдохновенные руки, не знаю...

Дома нас с Машей ожидала нечаянная компенсация: в наше отсутствие приезжала Денисова. Она оставила для меня конверт со ста

рублями и записочку: «Спасибо за цветы!»

3. «Старый Шлиссельбург»

Матери, бабушки, няньки всегда запросто обращались ко всяким пугающим существам: Бабе-Яге, Детосеке, Трубочисту.

...«Возьми, Детосека, Машеньку, — она не спит!..»

...«Трубочист, а Трубочист! Унеси Ваську в трубу, — он балуется!..»

...«Вот ужотка кликну Бабу-Ягу, — пускай с тобой управится!..»

Не знаю, пугали ребятишек тюрьмой или нет. Думаю, что не пугали. Для них тюрьма не конкретна и, значит, не так страшна, как красочная Баба-Яга или полнокровный Трубочист с белыми зубами на лице, измазанном сажей. Но крылья гигантского нетопыря — Шлиссельбургской крепости — были пугающе распростерты над всей взрослой Россией. Одно упоминание о Шлиссельбурге обдавало холодом минувших — да и не вовсе минувших! — ужасов.

В это минувшее стоит заглянуть.

Оговариваюсь: я не собираюсь говорить о торговом прошлом Шлиссельбурга. Оно давно стало преданием. Вероятно, новгородцы, смекалистые, оборотистые купцы, построившие в XIV веке крепость Орешек на Ореховом острове, имели какой-то свой реальный расчет. В течение 300 лет Орешек был для них окном в далекий мир. С этим миром они вели оживленный, надо думать, прибыльный торг.

Не интересуем нас здесь и военное прошлое Шлиссельбургской крепости. Шведы, под водительством Делагарди занявшие в XVII веке Орешек и переименовавшие его в Нотебург, конечно, тоже осуществляли какой-то свой расчет — военный, оборонительный. Но такой же расчет спустя столетие подвинул Петра Первого снова отнять у шведов Нотебург, переименовав его в Шлиссельбург. Сам Петр говорил: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако же слава Богу щастливо разгрызен». Значит, Петр придавал Шлиссельбургской крепости несомненное военное значение, — ведь не стал бы он по пустякам ломать зубы о «жесткий сей орех!»

Все это — прошлое, столь давнее, уже не существенное, что о нем не стоит говорить здесь. Шлиссельбургская крепость, как момент торговой и военной истории, не представляет интереса для этой работы.

Нам интересно другое. Начиная с Петра Первого, русские цари и царицы превратили Шлиссельбургскую крепость в место заключения. Более подходящие для этого условия трудно было найти. Достаточно сказать, что за 200 с лишним лет отсюда не был совершен ни один удачный побег!

Пустынный песчаный островок в истоке Невы поначалу служил только для личных нужд и потребностей властителей России. Так же как Екатерина Вторая в разговорах и письмах называла царскосельские парки — «мой садик», а дворец — «мой домик», так русские самодержцы, начиная с Петра Первого, могли бы называть Шлиссельбургскую крепость — «мой чуланчик». Цари и царицы запирали в этом «чуланчике», в Светличной башне Шлиссельбургской крепости, своих личных недругов и супротивников, претендентов на престол российский, конкурентов, угрожавших их покою и благоденствию.

Почин был положен Петром Первым. Он заточил в Шлиссельбургскую крепость нелюбимую супругу, Евдокию Федоровну Лопухину, и свою родную сестру, царевну Марию Алексеевну, заподозренную в сочувствии к опальной царице и пособничестве ей.

Царица Анна Ивановна и всесильный при ней временщик Бирон заперли в Шлиссельбурге своих врагов — «верховников», членов Тайного Верховного Совета.

Анна Леопольдовна, правившая при своем сыне, малолетнем императоре Иване Антоновиче, посадила в Шлиссельбург самого Бирона.

Императрица Елисавета Петровна заточила в Шлиссельбургской крепости свергнутого ею малютку императора Ивана Антоновича. В этой же тюрьме содержали его и преемники Елисаветы Петровны — Петр Третий и Екатерина Вторая. Несчастный ребенок, Иван Антонович, ничего и ни против кого не злоумышлял, — он был опасен лишь самым фактом своего существования. Когда он был в грудном возрасте, бездетная императрица Анна Ивановна манифестом объявила Ивана Антоновича наследником российского престола. Маленький наследник и не подозревал об этом, — он мирно сосал материнскую грудь. Спустя двенадцать дней после этого манифеста царица Анна Ивановна умерла, а двухмесячный, как тогда говорили —

«титешный», Иван Антонович был объявлен императором. Когда ему исполнился год от роду, для него началась горькая жизнь: разлука с родителями, ссылка, двенадцать лет одиночного заключения в Холмогорах, а затем восемь лет строжайшего заточения в Шлиссельбургской крепости. Как жилось Ивану Антоновичу в Шлиссельбурге, можно судить по инструкции, данной начальнику охраны князю Чурмантееву: «Если арестант станет чинить какие непорядки или вам противности, или же что станет говорить непристойное, то сажать его тогда на цепь, доколе не усмирится, а буде и того не послушает, то бить по вашему рассмотрению палкою и плетью».

В указе Петра Третьего князю Чурмантееву от 1762 года было еще более грозное предупреждение: «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться сколько можно и арестанта живого в руки не давать». Этим указом Ивану Антоновичу был подписан смертный приговор: в 1766 году, при попытке офицера Мировича освободить узника, чтобы провозгласить его императором российским, караул пристрелил Ивана Антоновича. После совершения этого убийства Екатерина Вторая не могла удержаться от радостно-благодетельной записи в своем дневнике: «Руководство божие чудно и неисповедимо!» Одновременно с этим она приказала по Шлиссельбургу: «Базымяйного колодника похоронить без огласки».

Историки отмечают, что с конца XVIII века Шлиссельбургская крепость постепенно превращается в место заточения прогрессивных и революционных деятелей. От этого, однако, Шлиссельбургская крепость не стала «государственной» — она продолжала именоваться «государевой». Сажая сюда просветителя Н.И. Новикова, Екатерина Вторая видела в нем прежде всего угрозу не для государства или народа, а лично для себя, для своего царствования. Заточенный ею, по ее произношению и правописанию, в «Слесельбурхскую крепость» или в «Шлюшин», Новиков, просидел здесь в течение четырех лет, хотя приговор ему был: пятнадцать лет. Преждевременное освобождение принесла ему смерть «матушки царицы»: он вышел на волю, по его собственным словам, «стар, дряхл, согбен, в раздранном тулупе», но все-таки вышел раньше определенного ему срока.

Такой же — глубоко личной — враждой окрашено отношение Николая Первого к декабристам, из которых некоторые (Пуцин, Кюхельбекер, братья Бестужевы, Поджио) были временно заключены в Шлиссельбургскую крепость. Для Николая Первого декабристы были — те, кто не хотел его в цари! Те, кто злоумышлял против него!

С такою же примитивной, личной, мстительной враждой относился к народолюбцам Александр Третий, — он видел в них прежде всего «подлых убийц душики папа» (подлинные слова Александра Третьего).

Народолюбцы были доставлены в Шлиссельбургскую крепость на барже, закованные по рукам и ногам. Каждый — в отдельном тесном шкафчике. От гроба, где обычно принято находиться в лежачем положении, такой шкафчик отличался лишь тем, что предоставлял меньше удобств: лежать в нем было невозможно, — только стоять или сидеть.

Больше двадцати лет провели народолюбцы в Шлиссельбурге. Крепость в истоке Невы стояла как загадочный сфинкс, окутанный сплошным туманом. О том, что делается внутри крепости, шли только смутные слухи, скупые опасливые шепотки. Тактика царизма, испуганного призраком революции, была в эти годы та же, что у гоголевского сумасшедшего: «Молчание!.. Молчание!..» Как можно меньше шума, огласки, упоминания, хотя бы мельком, имен главных революционеров! Казнь «первомартовцев», убивших Александра Второго, была последнею казнью, совершенной публично: дальше все пошло шито-крыто или, как теперь говорят, «втихую».

Страна ничего не знала о народолюбцах, узниках Шлиссельбурга, и они ничего не знали о том, что делается на воле, за стенами крепости. Никто из родных не получил ни одного свидания с кем-либо из заключенных. Ни одно письмо, ни один номер газеты, ни одна посылка с воли не проникали к ним извне.

Изредка начальство «смягчалось» — снисходило к настойчивым запросам родных и просьбам сообщить заключенным семейные новости. Но у царских сатрапов и это «снисхождение» — казалось бы, милосердное — превращалось в новую жестокость, в новый вид издевательства. Так, на мольбу матери сообщить ей хоть что-либо о дочери-узнице начальство отвечало непонятно и зловеще, как древняя пифия: «Ваша дочь крайне возбуждена». Одному из заключенных

сообщили сразу, за один прием, о семи смертях, происшедших в его семье! Все рекорды злобности побил, однако, министр внутренних дел Дурново. Приехав как-то в Шлиссельбургскую крепость и обходя камеры, он с безукоризненной светской любезностью сообщил одному из заключенных о том, что его жена вышла замуж.

Лишь после тринадцати лет заключения узникам было разрешено писать близким и получать ответ — два раза в год. Как особая милость было даже даровано разрешение читать не копии с получаемых писем, а подлинники их. Не много можно было узнать из такой корреспонденции, подлежавшей к тому же самой жесткой цензуре. Как пример этого приводят случай, когда проскользнувшая в письме Г.А. Лопатина фраза из популярной песни «И на штыке у часового горит полночная звезда» вызвала сильнейший переполох. Жандармы решили: Лопатин дает таким образом топографию своей камеры в надежде, что близкие помогут ему бежать из Шлиссельбурга!

Понемногу далекий мир за стенами крепости отодвигался все больше, превращался во что-то нереальное, как загробная жизнь. Но таким же неведомым было для заключенных и все то, что происходило хотя и в самой крепости, но за пределами их камер. Они порой не знали, что рядом с ними, в одном коридоре, заточены ближайšie люди, друзья, товарищи, и те в свою очередь тоже не догадывались о таком соседстве.

Прошло много страшных лет, прежде чем заключенным в Шлиссельбургской крепости народовольцам было разрешено встречаться друг с другом.

Мечтать об освобождении было невозможно. О бегстве — тоже. И люди мечтали, страстно мечтали о смерти.

Иным повезло: им удалось самоубийство.

Привожу два рапорта тюремного начальства.

«Вечером 26-го сего октября содержащийся в Шлиссельбургской крепости Михаил Грачевский облил себя керосином из горевшей в камере лампы, положил портянки себе на грудь и спину и зажег, вследствие чего от сильных ожогов и удушья дымом умер, несмотря на оказанную ему медицинскую помощь» (из доклада Александру Третьему от 28 октября 1887 года).

Об удавшемся самоубийстве сообщает и другой документ:

«РАПОРТ

(от 8 января 1891 года)

Вчерашнего числа, в исходе 4-го часа пополудни, старший помощник полковник Федоров доложил мне, что содержащаяся в камере № 4 старой тюрьмы арестантка София Михайловна Гинсбург (№ 33) зарезалась выданными ей для занятия швейною работою ножницами. В дополнение к вышеизложенному доношу Вашему Превосходительству, что сего числа в 5 часов пополудни труп умершей арестантки предан земле за стеною крепости вблизи Светличной башни.

И. д. Начальника Управления Коренев».

Случаи эти были единичны. Осуществить самоубийство было необыкновенно трудно. Поэтому иные заключенные искали повода прогневить начальство, так сказать, инсценировать проступок, для того чтобы их казнили. Так, Мышкин добился расстрела тем, что бросил тарелку супа в лицо начальнику тюрьмы.

Какой сильной была у всех этих людей тяга к самоуничтожению! Грачевский не дрогнул, когда умирал, обожженный, в невыразимых муках. Гинсбург вскрыла себе вены на шее маленькими тупыми ножницами с закругленными концами. Есть полное основание думать, что, уходя из жизни, все трое — и Грачевский, и Гинсбург, и Мышкин — стремились не только к тому, чтобы положить конец своему постылому существованию. Нет, у них был и другой расчет: пусть ценой самоубийства будет куплено облегчение невыносимых страданий для всех заключенных, остающихся в живых!

Этот жертвенный порыв не достиг цели.

О гибели товарищей, о том, как страшна была их смерть, заключенные узнали только много времени спустя. Лишь о расстреле Мышкина стало известно скоро: сменивший Мышкина в его камере М.Р. Попов обнаружил «завещание» — предсмертную надпись, нацарапанную на столе рукою Мышкина: «26 января я, Мышкин, казнен».

Это было все. Впрочем, нет! Мышкин удостоился эпитафии от самого царя. На докладе о том, что Мышкин бросил тарелку в начальника тюрьмы, царь Александр Третий «собственноручно начертать изволил»: «Что за нахалы, даже там не могут вести себя прилично!» (Собственноручные резолюции Александра Третьего, необыкновенно ярко и живо отражающие личность малограмотного

самодержца и его эпоху, читатель найдет в журнале «Голос минувшего», 1918, № 1–3. Здесь приведем лишь два монарших замечания, относящиеся к Шлиссельбургу. Одно — на докладе о голодовке заключенных-шлиссельбуржцев: «Что за ослы!» Второе на докладе о расстреле заключенного: «Совершенно правильно!»)

Все же кое-какие выводы из самоубийств тюремщики сделали. Так, после того как заключенный Клименко повесился на вентиляторе, тюремное начальство приказало отвинтить все вентиляторы, снять оконные задвижки и забить окна гвоздями. После самосожжения Грачевского лампы в камерах стали подвешиваться на такой высоте, чтобы заключенные не могли до них дотянуться.

В остальном все осталось неизменным. Как и раньше, заключенные обозначались не по именам, а по номерам своих камер: Вера Фигнер была «номер одиннадцать», Людмила Волкенштейн — «номер двенадцать», Николай Морозов — «номер четыре». Отсутствовали предметы элементарной бытовой гигиены, например В. Фигнер и Л. Волкенштейн лишь после длительной борьбы добились разрешения получать гребенку для расчесывания волос: один раз в неделю, по субботам, на несколько минут. Не меньшую борьбу — вплоть до голодовки — выдержал М.Ю. Ашенбреннер (полковник, один из виднейших членов военно-революционной организации «Народной воли») за разрешение пользоваться очками. Больных не лечили, предоставляя им погибать так, как околевают животные. Шесть лет пролежал пластом парализованный узник А.Б. Арончик, не имея сил ни подняться, ни протянуть руку за едой. Он был весь в пролежнях и язвах, в которых кишели черви. Тюремщики ничем не помогали ему сами и не допускали к нему товарищей, хотевших облегчить его страдания. Так и умер человек: сгнил заживо.

Иногда в Шлиссельбург привозили с воли осужденных революционеров, чтобы повесить их на территории крепости. Так повесили А.И. Ульянова (брата В.И. Ленина) с его товарищами по заговору на жизнь Александра Третьего. Повесили Степана Балмашева, Ивана Каляева.

Привожу еще один официальный документ.

«Совершенно секретно

РАПОРТ

от 10 мая 1905 года

за № 16

Доношу Вашему Высокоблагородию, что сего числа в 3 часа утра приведен в исполнение приговор над осужденным государственным преступником Иваном Каляевым в стенах Шлиссельбургской крепости и тело предано земле там же. Накануне казни осужденный просил свидания с прокурором, долженствующим присутствовать при исполнении приговора, и выразил ему, как последнюю просьбу, — содействовать, чтобы присяжный поверенный Жданов присутствовал при исполнении приговора и вообще просил его доставить возможность видеться с означенным Ждановым, объясняя при этом, что видеть он его желает не для того, чтобы через него просить о смягчении участи, а по делам, лично его касающимся. О вышеизложенном товарищем прокурора составлен протокол, копия с коего представляется мною коменданту корпуса. Названный Жданов прислал мне телеграмму, уведомляя о своем приезде 9-го числа вечером и прося приготовить ему пропуск в крепость. Не имея на то указания директора департамента полиции, я его не допустил, объявив, что на это испрошу разрешения, и Жданов при казни не присутствовал и свидания с Каляевым не имел. За час до совершения казни осужденный просил разрешения написать письмо матери, каковое представляется мною директору департамента полиции. Перед казнью был допущен священник, с которым осужденный ограничился одним лишь разговором.

Полковник Яковлев».

В этом документе, как и во всех остальных, здесь приведенных, мною сохранены и орфография, и стиль. Думаю, что до читателя дойдет все, что потрясает в этом страшном рапорте. Горько думать, что последняя просьба Ивана Каляева осталась не исполненной, — мы так и не знаем, о чем в предсмертный час он хотел говорить со своим защитником, присяжным поверенным Ждановым. С уважением, с невольной гордостью за человека думаешь об адвокате Жданове. Он не побоялся защищать Каляева, убийцу великого князя Сергея Александровича, царского дяди и палача Москвы. Жданов защищал

Каляева бескорыстно и безвозмездно: он был членом «Организации политических защитников», а они никакого гонорара за участие в политических процессах не брали, — это почиталось долгом чести тогдашнего революционно-демократического интеллигента. На призыв Каляева приехать к нему для присутствия при казни Жданов откликнулся немедленно. Он примчался в Шлиссельбург поздно вечером. Не на автомобиле — они тогда были в редкость. Вероятно, он приехал поездом по Ириновской железной дороге, — от станции надо было еще отшагать три версты пешком по весенней грязи и распутице. Адвокат торопился на зов своего подзащитного Ивана Каляева, но его не пропустили! Тюремная администрация не имела на то разрешения от высшего начальства — вернее будет сказать, что она (вольно или невольно) не удосужилась своевременно получить такое разрешение...

Пусть сегодняшней читатель увидит все это сквозь дремучую чащобу чиновничьего бездушия и канцелярски-бюрократическое косноязычие приведенного здесь «рапорта».

За 20 с лишним лет через «старый Шлиссельбург» прошло — вместе с привезенными на казнь — всего 68 человек. «Пропускная способность» старой Шлиссельбургской тюрьмы была ничтожна: она вмещала в среднем одновременно человек 30. А текучесть была значительна: узники задерживались в этой тюрьме недолго — по разным причинам. Уже не говоря о привозимых на казнь, которые жили здесь лишь по нескольку дней каждый, — а З.В. Конопляникова провела в ожидании казни всего 56 минут, но и среди постоянных обитателей тюрьмы, заключенных, был большой процент заболеваемости, а среди заболевших — высокая смертность. В августе 1884 года из Алексеевского рavelина были переведены в Шлиссельбург 21 человек. В ближайшие за тем два-три года из них погибло 17 человек. Из 68 заключенных, прошедших через «старый Шлиссельбург», умерло от туберкулеза одиннадцать человек, сошло с ума девять, окончило жизнь самоубийством четыре, расстреляно и повешено во дворе крепости одиннадцать человек. Итого — тридцать пять. Это — из общего числа 68 — больше половины.

Шеф жандармов Оржевский лицемерно объяснял большую заболеваемость и смертность среди заключенных осознанием ими своей вины и пробуждением в них раскаяния! О том, что это была ложь, красноречиво говорит одно незначительное, но коварное

обстоятельство: в установленной форме отчетов администрации о 117 заключенных имелась поначалу графа «Степень проявленного раскаяния», но ее пришлось выбросить. Очевидно, раскаяние существовало лишь в мечтах тюремщиков.

Был огромный, просто чудовищный разрыв между числом заключенных и количеством тюремщиков. Горсточку узников — в среднем человек в тридцать — обслуживали... нет, не то слово! — караулили, мучили, разъединяли, мешали их общению между собой 143 тюремщика (45 — по управлению и 98 — по «пешей команде»). На содержание Шлиссельбургской тюрьмы отпускалось в год 85 тысяч рублей. Расход на каждого из заключенных составлял 11 копеек в день; иначе говоря, на всех арестантов тратилось, вместе с кое-какими другими статьями расхода, около 2 тысяч рублей в год. Остальные 83 тысячи рублей в год (из 85 тысяч) получали тюремщики. К этой сумме прибавлялись некоторые награждения из «экономических сумм». (Об этих «экономических суммах» я расскажу дальше.)

В общем, житьецо у тюремщиков «старого Шлиссельбурга» было вполне благополучное.

Как ни странно покажется на первый взгляд, но именно это обстоятельство вызвало кое-какое улучшение в невыносимой жизни заключенных! Страшная борьба самих заключенных за такое улучшение не приносила почти никаких изменений в их жизни и быте. Но усилившаяся среди них заболеваемость и участвовавшая смертность заставили тюремщиков задуматься: а не потеряют ли они всех заключенных и не уплывет ли с ними вместе из-под ног тепленькое местечко? Из этого, надо признать, логически обоснованного, законного опасения выросли не то чтобы радикальные изменения, — нет, до этого дело, конечно, не дошло, — но некоторые послабления, облегчения тюремного режима. Заключенным стали давать кое-какие книги, кроме евангелия. Разрешили пользоваться письменными принадлежностями. Разрешены были также прогулки вдвоем, работы на единоличных огородных клочках земли и пр.

В своих воспоминаниях «Шлиссельбургские узники» (издательство «Задруга», 1920) Вера Николаевна Фигнер, рассказывая о жизни шлиссельбургских заключенных, вспоминала картину В.В. Верещагина:

«На вершине утесов Шипки в снеговую бурю стоит неподвижно солдат на карауле, забытый своим отрядом. Он сторожит покинутую позицию и ждет прихода смены. Но смена медлит, смена не приходит и не придет никогда. А снежный буран крутится, вьется и понемногу засыпает забытого... по колена... по грудь... и с головой. И только штык виднеется из-под сугроба, свидетельствуя, что долг исполнен до конца.

Так жили мы год за годом, и тюремная жизнь, как снегом, покрывала наши надежды, ожидания, которые тускнели и стирались. Мы ждали смены, ждали новых товарищей, новых молодых сил. Но все было тщетно: мы старились, изживали жизнь, а смены все не было и не было...»

Так писала В.Н. Фигнер. Так думали и остальные шлиссельбуржцы-народовольцы.

Но смена все-таки пришла!

В 1905 году — в революцию — ворота с надписью «Государева» растворились! Изображенный над входом двуглавый орел с хищно нацеленными когтями увидел небывалое: вышли на волю заключенные, прошедшие в Шлиссельбургской крепости по 20 и более лет.

Сохранилась грифельная доска, на которой восемь человек из уходящих оставили свои автографы мелом.

ШЛИССЕЛЬБУРГ

28 октября, 1905 год

1885 Петро Антонов 1 мая

1880 Михаил Попов 22 февр.

1881 Николай Морозов 28 ЯНВ.

1884 Герман Лопатин

1881 Янв. Сергей Иванов

1887 3 мар. Михаил Новорусский

17 марта 1881 Михаил Фроленко

Иосиф Лукашевич Март 1887

(слева и справа — дата заточения в Шлиссельбург).

Осталась в крепости, на большом тюремном дворе, яблоня, посаженная М.Ф. Фроленко на том месте, где были расстреляны

Мышкин и Минаков, где повесили Рогачева и Штромберга, а позднее — А. Ульянова с товарищами-студентами: П. Шевыревым, В. Генераловым, В. Осипановым и П. Андреюшкиным. Яблоня стояла долго, зеленела и цвела еще десятки лет спустя. Ее срезало под корень осколком снаряда в Великую Отечественную войну с фашизмом.

В 1905 году Шлиссельбургская крепость опустела.

В то время казалось — навсегда!

4. «Новый Шлиссельбург»

Рассказываю я здесь об этом случае потому, что он очень наглядно раскрывает новый расчет самодержавия. Теперь, после 1907 года, оно сознательно смешивало в Шлиссельбурге, с одной стороны, революционеров, то есть людей высшего служения моральному долгу, таких, как Борис Жадановский, Ф.Н. Петров, Владимир Лихтенштадт, Серго Орджоникидзе, И.П. Вороницын, Илья Ионов, М. и Д. Трилиссер, а с другой стороны, таких гнуснейших преступников, как граф О'Бриен де Ласси. Самодержавие могло надеяться и надеялось, что чашка уголовников перетянет. Получится уже не прежний «старый Шлиссельбург», не Бастилия, не романтический замок с томящимися в нем героями, борцами за свободу, а «нормальная уголовная тюрьма», «нормальный уголовный централ», где численно меньшая часть — политические, революционеры — распылится.

Однако этот расчет только представлялся математически правильным и логичным. На деле же он оказался ошибочным. Ошибка самодержавия была в том, что расчет свой оно построило только на одном количестве, совершенно упустивши из виду качество.

Да, количественно уголовников было вдвое больше, чем революционеров. Но эта меньшая часть — одна треть — была качественно, по своей моральной силе, неизмеримо более весома, чем те две трети. Не она растворилась в них, а они в ней. Произошло это, конечно, не сразу, не в один день, но факт этот бесспорен: в «новом Шлиссельбурге» тон задавали не уголовники, а политические, революционеры. Как говорили сами заключенные, Шлиссельбургская каторга была больше политическая, чем «жиганская».

«Новый Шлиссельбург» отличался от «старого» не только количеством и составом заключенных, — в нем был и другой режим. Конечно, и теперь это была страшная крепостная каторжная тюрьма со всеми ее мрачными особенностями. Но, по сравнению с прошлым, в ней было и кое-что новое. Не только внешние новшества — такие, как упразднение прежних серых курток с черными рукавами и нашитым на спине бубновым тузом из черного сукна или отмена для каторжан обязательного до тех пор бритья половины головы. Несомненным новшеством были и некоторые облегчения в жизни заключенных:

свидания — хотя и редкие, переписка — хотя и всячески стесненная. Наконец, в «новом Шлиссельбурге» оказалась возможной существовавшая вне крепости подпольная «Группа помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы». Группа эта была нелегальная, строго законспирированная, но она была, она работала, чего не было и не могло быть в «старом Шлиссельбурге».

Главной заслугой Марины Львовны и Якова Максимовича — он был председателем нашей «Шлиссельбургской группы», — а вместе с тем и главной их удачей было то, что они нашли способы осуществлять нашу работу, используя для этого окружающую нейтральную среду.

Мы были, как уже сказано, организацией подпольной. У нас не было и не могло быть «юридического лица», печати или штампа, не было адреса, не было начальства. Не было даже списка участников: его надо было держать в памяти. Мы не служили нигде и никому, работали добровольно, не получая за это ни от кого никакой платы. Единственное, чего мы могли ожидать от царских властей: если кто-нибудь из нас «засыплется» и будет арестован, ему дадут полагающуюся по закону кару — заключение в крепость на срок не меньше одного года.

Мы ничего не могли делать открыто. У нас была, по существу, лишь одна опора: окружавший нас негласный мир хороших людей, с которым мы были в постоянных, но столь же негласных отношениях. Деньги, материальные ценности, необходимые для заключенных, книги для библиотеки, лекарства, лимоны и рыбий жир для цинготных и туберкулезных, мясо, муку, сахар, крупы — все это мы получали от них, от хороших людей. Получали тайно, и никто не брал с нас никаких расписок. Ни перед кем, кроме Марины Львовны, Якова Максимовича и остальных членов нашей группы, мы не отчитывались да и не могли отчитываться в том, каким образом и на что употребили мы эти продукты, ценности и деньги.

В окружавшем нас негласном мире хороших людей имелось все, что было нужно для заключенных. Но надо было еще, чтобы люди, у которых все было, узнавали о тех, кто погибал от недостатка. Кто-то должен был открыть им это. Кто-то должен был получать от имевших.

С этой частью работы мы справлялись вполне. Неизмеримо труднее было второе звено этого процесса: доставить все добытое таким образом в Шлиссельбургскую крепость. Здесь перед нами вставали трудности, почти неодолимые. Как могло хоть что-либо, хоть мелочь-лимон, кусок сахара или мяса, дойти до заключенных, добраться вплавь на крепостной остров, проскользнуть в ворота с надписью «государева», за стену такой толщины, что пробитые в ней ворота казались чуть не туннелем?

Надо было поэтому искать «каналов» среди официально разрешенных организаций вроде какого-нибудь благотворительного Общества «Доброхотной копейки» или Тюремного комитета под чьим-либо высоким председательством, например супруги министра юстиции мадам Щегловитовой.

Два раза в году — на рождество и на пасху — такие благотворительные учреждения производили в России официально разрешенные денежные сборы «на улучшение праздничного стола арестантов». Ходило множество анекдотов и острот о том, сколько при этом раскрадывалось доброхотных рублей и копеек. Но для нас важно было одно: на рождество и на пасху во все российские тюрьмы доставлялись заключенным дефицитные для них жиры, мясо, сахар, белая мука и т. п. И нашей задачей было: вливаться в который-нибудь из таких легальных «каналов», для того чтобы сделать большую передачу на всю Шлиссельбургскую тюрьму. Для этого необходимо было очень много — на 800–900 человек! — мясных туш, мешков муки, сахара, круп. Нужно было, чтобы мадам Щегловитова и не догадывалась о том, что под флагом патронируемой ею организации Тюремного комитета — делает свое дело подпольная «Группа помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы». Надо было иметь «своих людей» и в этом Тюремном комитете, и в самой Шлиссельбургской крепости. Невозможно даже объяснить сейчас, до какой степени это было трудно!

Всю эту сложную внешнюю политику, дипломатию, даже стратегию осуществлял в нашей группе ее председатель Яков Максимович Каплан. Он был адвокатом, у него были большие связи и знакомства, еще большие связи и знакомства были у его отца, известного адвоката тоже помогавшего нам. Среди людей, с которыми был связан Яков Максимович, были, конечно, и такие, которые втайне

сочувствовали революции и революционерам. Более точных сведений о том, как именно осуществлял Яков Максимович эту часть задачи, сложнейшей и важнейшей для работы нашей группы, я не имею. Об этом, конечно, знала кроме него и Марина Львовна, а возможно, и наиболее близкие к ней Ольга Марковна фон Фохт и Любовь Исаевна Браудо. Но мы, остальные шесть членов группы, об этом не знали и привыкли никогда не спрашивать.

Настолько сильна была в нас эта внутренняя дисциплина, неустанно, каждый день воспитываемая Мариной Львовной, можно судить по следующему факту: после Октябрьской революции, когда и группа и ее работа ушли в историю, я встречалась с Яковом Максимовичем, бывавшим у меня запросто дома, но ни разу мне не пришло в голову расспросить его об этом интереснейшем и ответственнейшем звене нашей работы! Тут-то бы уж он, конечно, все рассказал мне, и как бы это пригодились мне сейчас для этих воспоминаний! Почему же я никогда и ни о чем его не спросила? Вероятно из-за прочно укоренившейся привычки сохранять строжайшую тайну в этих делах и прежде всего никого и ни о чем не расспрашивать.

Большие передачи, которых могло хватить надолго для всех заключенных Шлиссельбурга, наша группа делала не только на рождество и на пасху, но и на троицу и еще несколько раз в году — по разным поводам и разным «каналам». Находил их и использовал почти всегда Яков Максимович.

Он же осуществлял связь между нашей «Шлиссельбургской группой» и Центральной организацией политического Красного Креста. Знаю, в частности, о том, что он был связан с Екатериной Павловной Пешковой.

...Скажу тут же, попутно, о самом Якове Максимовиче, — дальше, может быть, не представится к этому случая. В жизни мне повезло, — я встречала очень много превосходных людей. Отсюда выросла во мне, держится и сейчас, в глубокой старости, крепчайшая уверенность в том, что хороших людей на свете гораздо больше, чем плохих. Однако, положа руку, как полагалось в старину, на сердце, я должна сказать, что наш Яков Максимович — друзья называли его «Жак» — был одним из самых лучших, самых чистых, вероятно, не

очень счастливых, а потому грустных, застенчивых и нежных людей, каких я встречала.

Главной страстью «Жака» были книги. Когда он держал в руках прекрасную книгу, его застенчивые, добрые глаза, над которыми супились кустистые разбойничьи брови, восхищенно сияли, как у ребят в кондитерской! Ему принадлежала личная библиотека, одна из лучших в Петербурге.

После Октябрьской революции Яков Максимович стал работать в Петроградской публичной библиотеке (ныне имени М.Е. Салтыкова-Щедрина).

Но тут случилось неожиданное: по невероятной случайности Яков Максимович лишился своих книг. Пожалев какого-то человека, которому негде было жить, он, всегда добрый и отзывчивый к чужой беде, пустил его жить в свою квартиру. Человек этот, вздорный и низкий, всякими интригами и происками добился выселения самого Якова Максимовича из его же квартиры и выбросил во двор все его книги. Яков Максимович заметался в отчаянии, — шла гражданская война, немыслимо было достать грузовик или хотя бы телегу (по чьему-то «погребально-юмористическому» выражению, в то время даже покойников хоронили, за отсутствием транспорта, «в порядке живой очереди», в ожидании погребения их сносили в погреб и подвалы). Шел дождь, ценнейшая уникальная библиотека Якова Максимовича погибала в лужах...

Кто-то заступился за него, — он получил «жилплощадь». Но книги его так уже и не вернулись в свои шкафы: Яков Максимович подарил библиотеку какому-то учреждению. С того дня он окончательно погрузнел, — вероятно, поверил, будто негодяев на свете больше, чем хороших людей...

Вскоре затем я потеряла его из виду.

5. Негласный мир хороших людей

На одном из первых мест хочется мне назвать здесь имя последнего врача Шлиссельбургской крепости — доктора Евгения Рудольфовича Эйхгольца.

Врач по образованию и профессии, а по рождению русский дворянин, помещик, земец Смоленской губернии, богатый, независимый, никогда не знавший принижающей и принуждающей власти бытовых неустройств, Е.Р. Эйхголец мог избрать для себя любую деятельность. Все дороги к так называемой карьере лежали перед ним широко, гостеприимно звали его: «Приходи володети!»

Е.Р. Эйхголец выбрал самую трудную из них, самую незаметную, наиболее удаленную от успеха и блеска. Все свое врачебное творчество он отдал тяжелой, неблагодарной, нередко презираемой — и, по вине многих врачей, заслуженно презираемой — работе тюремного врача. Для Е.Р. Эйхгольца эта работа означала спасение заключенных от болезней, отчаяния и гибели.

На этот путь толкнули Е.Р. Эйхгольца не революционные убеждения, — он был далек от политики и в жизни и в работе. Не играло здесь роли и христианское сострадание ко всем несчастным и страждущим...

Что же лежало в основе сознательного выбора именно этого пути?

Прежде всего, конечно, призвание. «Труд врача в тюрьме — не карьера, а призвание, — писал доктор Е.Р. Эйхголец в своей книге «Тюремный врач и его пациенты». — Ежели призвания нет, то не следует переступать порога тюрьмы и брать на себя бремя не по плечу».

Каждый человек ежеминутно, ежесекундно видит, слышит, ощущает множество вещей. Жизнь стучится в наше сознание множеством впечатлений, восприятий — зрительных, слуховых, всяких. Нам кажется, что мы их тут же забываем, и мы в самом деле не храним их в памяти сознательно. Но бессознательно все это откладывается в нас миллионами мельчайших, почти неуловимых отметок, зарубок, похожих на стенографические знаки. Мы не углубляемся в воспоминания о том, как мы когда-то, впервые в жизни, ощутили «реку», но помним, как кто-то из взрослых, держа нас,

маленьких, на руках, вошел сам и окунул нас во что-то чудесно-прохладное. При слове «собака» в нас на ничтожно малую частицу времени оживает сохранившийся в памяти с детства стенографический значок: мохнатость, и «гав-гав», и теплый язык, мокро лижущий наше лицо и руки. И совершенно так же — бессознательно, бездумно и навсегда — вошли когда-то в нас самые большие понятия, строгие, требовательные, вошли и стали потом нашими убеждениями, действиями, нашей судьбой и биографией.

Книга Е.Р. Эйхгольца «Тюремный врач и его пациенты» (здесь и дальше я цитирую именно ее) начинается со следующего образного описания:

«Во всяком селе, уездном или губернском городе, а тем более в больших центрах человеческой жизни, среди массы построек самого разнообразного типа и назначения, находится одно здание, резко отличающееся от других уже по внешнему виду. Небольшие окна с железными решетками и основательные ворота крепкого строения с часовым постом внутри или снаружи. Эти сооружения носят разные названия: «холодная», «арестный дом», «исправительное заведение», «тюрьма». Назначение их — выделение из общества лиц, нарушивших законы, наказание их — как возмездие за преступление и как исправление...»

Таким вошел когда-то давно, может быть в детстве, в сознание доктора Е.Р. Эйхгольца образ тюрьмы. Таинственное и страшное здание, в которое можно войти, но нельзя выйти по своей воле, в котором одни люди насильно держат взаперти других, карают их, не дают им уйти, убежать к себе домой. Образ этот в детстве — каждый может это вспомнить — всегда впечатляет, поражает воображение. В сознание доктора Е.Р. Эйхгольца этот образ вошел, видимо, особенно властно и сильно. А войдя, приказывающе открыл перед ним тот путь, которым ему предстояло идти на протяжении всей сознательной жизни.

Начал он этот путь строго объективно: все преступники перед врачом одинаковы, врач должен лечить их, а до личности их, до прошлого, врачу нет никакого дела. «Тюремный врач — не судья, он не должен делать никакой разницы при выборе средств лечения для заключенного уголовного, политического, краткосрочного или вечника...» — пишет Е.Р. Эйхголец. И в другом месте книги: «Если

врач будет видеть одним глазом больного, а другим глазом — преступника, то результат его труда будет — нуль. Нет никакой необходимости вмешивать врача в политическую часть тюремной жизни, для этого существует администрация».

У того же Е.Р. Эйхгольца, в той же книге, есть и другое высказывание. Думаю, что оно — ключевое, объясняющее его позицию в отношении к заключенному: «Преступники не рождаются, а создаются. Мы имеем тех преступников, каких заслуживаем. Преступник есть тень общества, и всякий человек в несчастье может сделаться преступником, как и из преступника можно сделать честного человека».

Так складывался доктор Е. Р. Эйхголец еще в молодости своей под несомненным влиянием таких примеров, как образ «святого доктора» Федора Петровича Гааза, врача-человеколюбца филантропического склада. Но на становление Е.Р. Эйхгольца, как революционно-демократического гуманиста, немало повлияла, вероятно, встреча в Шлиссельбургской крепости с Мариной Львовной Лихтенштадт. Ее материнская забота в отношении не только родного сына, но и всех товарищей его по «политической каторге» поражала всякого глубоко и сильно. По собственному опыту скажу: поражала навсегда, на всю жизнь. Это было не филантропическое сострадание к «несчастливым» (все, мол, бедненькие, страдают, «все черненькие, все прыгают»). Нет, это было глубочайшее уважение к революционерам, к борцам за свободу и счастье людей.

Доктор Е.Р. Эйхголец был тесно связан с Мариной Львовной по работе. Ее удивительное самоотвержение не могло пройти незамеченным для такого человека, как он. Как врач, Е.Р. Эйхголец помогал всем одинаково. Как человек, как гражданин, он выделял политических, относясь к ним с особым уважением.

Среди тюремных врачей Е.Р. Эйхголец был редчайшим исключением. Обычный тип тюремного врача того времени был — равнодушный, малообразованный врач-чиновник, заинтересованный только в жалованье, в правах так называемой «действительной службы» (чины, ордена, льготы и т. п.). Такие были, к сожалению, еще не худшими из всех. Встречались среди тюремных врачей и явно подлые люди, с психологией палачей, относившиеся к заключенным (особенно к политическим) с презрением и ненавистью. Нечего,

конечно, и говорить, что заключенные отвечали им полной взаимностью. Таковы были почти все предшественники доктора Е.Р. Эйхгольца в Шлиссельбургской крепости. Особенно печальную славу снискали себе там врачи Аксенов и Шерман. При них врачебная работа была передоверена фельдшерам. Случай, когда в Шлиссельбурге невежественный ротный фельдшер Левченко в пьяном виде впустил заключенному в больной глаз кислоту, от которой глаз ослеп, был не единичным проявлением преступной небрежности и халатности.

Почти все, что мы делали по основным разделам работы нашей «Шлиссельбургской группы», — в отношении питания заключенных, лечения и предупреждения болезней, создания возможностей привлечения их к труду — в значительной части оказывалось возможным и осуществимым благодаря негласному участию в этом доктора Е.Р. Эйхгольца.

Все это он уже делал — или пытался делать — и раньше, в тех тюрьмах, где работал до Шлиссельбурга (в Смоленском каторжном центре и других). Но там он осуществлял это главным образом на свои собственные средства, иногда при поддержке местных организации политического Красного Креста, часто недостаточно сильных. Поэтому большого размаха в этой работе не было. Точно так же и мы, участники «Группы помощи», конечно, работали бы или пытались работать для Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, даже если бы у нас не было помощи со стороны тюремного врача. Однако без поддержки доктора Е.Р. Эйхгольца наша работа была бы гораздо мельче, не так эффективна. Такою она, кстати сказать, и была при других врачах, предшественниках доктора Эйхгольца.

На питание каждого заключенного в «новом Шлиссельбурге» казна отпускала по 13 копеек в сутки. В эту сумму входила — или должна была входить — стоимость хлеба, круп, минимального намека на мясо (по некоторым дням), гороха, подсолнечного масла, сельдей (по 1/9 селедки на человека), картофеля, квашеной капусты и — очень редко — некоторого количества мороженой и сушеной рыбы.

Даже если бы в тюремном ведомстве не крали так бессовестно и беззастенчиво, как во всех остальных российских ведомствах, даже если бы продукты не были часто фальсифицированы (например, мука с отрубями, мякиной, песком!) и были эти продукты в самом деле

первосортными, а не только именовались таковыми, все равно тюремное питание было недостаточным и приводило к болезням и вымиранию заключенных. Основным недостатком этого питания было почти полное отсутствие жиров и овощей, — это влекло за собой авитаминоз, цингу, туберкулез.

Из-за недостатка жиров иные заключенные воровали и употребляли в пищу деревянное масло из лампадок, горевших перед иконами, или «замасливали» кашу машинным маслом, которое им выдавали для швейных и других машин.

На средства, доставляемые нами, — а частично и на свои собственные — доктор Эйхгольц выписывал на свое имя из Норвегии рыбий жир — бочками. Рыбий жир в Шлиссельбурге не только выдавался в крепостной больнице заключенным, уже страдавшим цингой, как лечение, но и распределялся по камерам, как предупреждение против заболевания цингой. Заключенные ели его, иные поначалу с отвращением, намазывая на хлеб и густо посыпая солью. Спустя некоторое время к рыбьему жиру привыкали даже те, что сперва еле переносили его. Для тех же, у кого никак «душа не принимала» рыбьего жира, мы присылали в Шлиссельбург — все так же в адрес доктора Эйхгольца — по три-четыре бочки подсолнечного масла в год, вместимостью каждая по 15 пудов. Для особо малокровных и слабогрудых выписывали с юга — таким же образом и в тот же адрес — так называемое «малороссийское сало» — партиями по 10 пудов.

Очень плохо обстояло дело с овощами. Квашеная капуста насыщает, но, когда портится, она отравляет организм. А сохранять ее в годном состоянии целый год было невозможно. Доставлять овощи извне мы не могли. Но тут выручали огороды — заключенные сами выращивали морковь, редьку, свеклу, огурцы, брюкву. Семена доставляли в Шлиссельбург мы.

В больницу Шлиссельбургской каторжной тюрьмы мы доставляли лимоны — большими партиями, в ящиках. Это было одной из моих обязанностей. Делала я это с помощью крупного оптовика-фруктовщика, Василия Ивановича Гильвана, с которым меня познакомили общие друзья. В.И. Гильван не только пересылал лимоны в Шлиссельбург на имя Эйхгольца, но и брал на свой счет стоимость значительной части этих лимонов. Я же доставала еще и очки для

близоруких и дальнозорких заключенных. Доктор Эйхгольц давал Марине Львовне рецепты стекол, а я получала эти очки по протекции профессора-окулиста у известного в Петербурге оптика К. Урлауба.

Большим облегчением для страдавших ревматизмом, сильным малокровием, поражениями дыхательных путей (бронхиты и т. п.) было завоеванное доктором Эйхгольцем у тюремного начальства разрешение для заключенных носить свое теплое белье. Это белье покупалось на средства «Шлиссельбургской группы», доставлялось доктору Эйхгольцу и распределялось им среди больных.

Благодаря рыбьему жиру, овощам, лимонам, а больше всего благодаря самоотверженной работе доктора Эйхгольца наступил день, когда в Шлиссельбургской каторжной тюрьме заболеваемость и смертность снизились с 6 до 0,6 процента, то есть уменьшились в десять раз. Помню, как был отпразднован этот счастливый в нашей работе день: Ольга Марковна фон Фохт устроила у себя «торжественный чай», на котором собралась вся группа — все десять ее участников.

Отсутствовал только один человек. Он не был членом группы, но он был — все это понимали — главным героем этого торжества. Это был доктор Евгений Рудольфович Эйхгольц. Отсутствие его не было случайным: он никогда не бывал на собраниях наших или заседаниях, не бывал и ни у кого из нас дома. Кроме Марины Львовны да еще, может быть, Якова Максимовича, все мы, остальные, были незнакомы с доктором и ни разу в жизни его не видали. Мы с Машей даже прозвали его в шутку «доктором Немо» — по имени таинственного героя романа Жюль Верна. Конечно, все мы были сильнейшим образом заинтересованы в том, чтобы никто не разгадал тайны нашего «доктора Немо». И оберегали ее, прямо скажу, свято.

Мне иногда казалось и продолжает казаться странным то, что о докторе Евгении Рудольфовиче Эйхгольце так мало написано, так мало известно. О негодях, недостойных звания врача, позоривших в Шлиссельбурге это звание, — Аксенове, Шермане — написано и известно (правда, известность эта печальная!) гораздо больше, чем об Эйхгольце! Исключительно тепло, с любовью и уважением писали мне о Е.Р. Эйхгольце многие бывшие политкаторжане, старые большевики, знавшие его не только по Шлиссельбургской крепости, но и по Смоленскому и другим каторжным центрам. Однако в печати

доктору Е.Р. Эйхгольцу посвящены, в буквальном смысле слова, лишь крупинки! Даже в капитальном труде профессора М.Н. Гернета «История царской тюрьмы» о Евгении Рудольфовиче сказано лишь несколько фраз.

Думаю, что причина здесь не только в скромности доктора Эйхгольца — хотя и был он, видимо, благородно скромен, — но и в другом обстоятельстве. Приятная, конечно, вещь — добрая слава! Но доктор Эйхголец всегда помнил, что добрая слава тюремного врача может только повредить его пациентам-заключенным. Она могла бы насторожить тюремщиков и тем положить конец деятельности врача. Все это диктовало необходимость строжайшей конспирации.

В этом отношении все мы — не только младшие в группе, такие, как Маша и я, но и все без исключения участники — были необыкновенно строго воспитаны Мариной Львовной. Она не уставала напоминать нам о необходимости тщательной конспирации. Она повторяла, подчеркивала, буквально вдалбливала в наши головы обязательность самой большой сдержанности, скромности нашего поведения на людях и опасность всякой броскости в манерах, голосе, интонациях для людей, цель которых — быть как можно менее заметными. Беспощадно преследовала Марина Львовна все то, что теперь, в наши дни, называется «лихачеством». Она называла это «гусарством», подразумевая под этим всякий ненужный риск, опасный для дела и товарищей по работе, всякое бравирование опасностью — все то, что, по ее мнению, «было бы к лицу Николаю Ростову и Долохову, но никак не нам».

Здесь, пожалуй, уместно расшифровать то предупреждение Марины Львовны: «И пожалуйста... Да?», о котором я упомянула в начале своего рассказа. Означало оно не только напоминание: «Не говорите слишком громко на улице!» Оно имело еще и другой смысл, гораздо более важный: «Не зарывайтесь! Не рискуйте легкомысленно, зря!» Чем это было вызвано с моей стороны, сейчас расскажу.

До вступления в «Шлиссельбургскую группу» я два года — 1906 и 1907 — работала в другой организации того же политического Красного Креста, она называлась «Кружок помощи ссыльным» и в самом деле помогала ссыльным политическим. Кружок наш был очень тесный — нас было всего шесть человек.

Возглавляла кружок писательница Любовь Яковлевна Гуревич, прозаик, а в дальнейшем выдающийся театровед, — замечательный человек, о котором следовало бы вспомнить самостоятельно, а не только «по поводу». Еще входила в кружок Ефросиния Дмитриевна Хирьякова — друг Льва Толстого, дважды ездившая по его поручению в Канаду, сопровождая переселявшихся туда духоборов. Ефросиния Дмитриевна была такой чудесной, детской доброты, что о ней говорили: «Ради бога, не рассказывайте при Ефросинии Дмитриевне, что у кого-нибудь нет штанов, — она снимет со своего мужа последние брючишки и отдаст их этому бесштанному!»

Была среди нас и Екатерина Яковлевна Андроникова — мать ныне здравствующего советского ученого и писателя Ираклия Андроникова (в то время он был еще «не рожденная душа»). Еще — врач Цецилия Ароновна Мочан-Шутякова, Елена Ивановна Фомина и я. Работали мы поначалу почти легально, даже помещали от времени до времени отчеты о нашей работе в ежедневной газете «Наша жизнь» (редактор — профессор Л.В. Ходский). Однако легальный фарватер все больше мелел, отчеты наши перестали появляться, — нам пришлось прочно уйти в подполье.

Однажды мы получили известие о том, что в одной из южных губерний летом 1906 года арестован сельский сход, арестован поголовно — вместе с женщинами, ребятишками, стариками и сельским учителем. Все они были сосланы на Север. В письме, дошедшем до нас нелегальным путем, сообщалось: все арестованные на сходе увезены, в чем были. Ребятишки — в рубашонках, да и взрослые — «во всем летнем», и уж конечно не в шубах и валенках. Сейчас осень, надвигается зима, все сосланные раздеты, разуты. Необходимо срочно помочь.

Мы заметались. Кто собирал верхние вещи и одежду для взрослых, кто валенки, обувь. Нам с Е.И. Фоминой было поручено одеть детей: собрать у «хороших людей» вещи и деньги для покупки необходимых материй — бельевых и платяных.

Нельзя было терять ни дня, ни часу: было уже начало зимы, в Петербурге выпал снег, и по улицам весело побежали санки, а там дети в рваных ситцевых рубашонках!

От этой беды, оттого, что ее надо было избывать так срочно, мы нервничали, выбивались из сил, даже начали ссориться, чего у нас уж

вовсе не бывало.

В тот день мы с Е.И. Фоминой с утра рыскали по Петербургу. Заходили в десятки квартир, взбирались и спускались по десяткам лестниц — и все попусту. Нас преследовала невероятная неудача! Мы почти никого не заставляли дома, а те, кого и застали, на призыв помочь отзывались очень скудно.

— Рыбаки! — сердилась я. — Горе, а не рыбаки! Сидим на берегу с самого утра, а чего наловили? Трех мух и одну лягушку!

— И ту дохлую... — мрачно поддакивала моя спутница.

Чувствовала я себя в этот день совсем больной, я была беременна, от усталости у меня кружилась голова... Привожу эти подробности — сама понимаю — с невольным желанием хоть немного оправдать мое дальнейшее поведение.

Уже в сумерки, расставшись с Е.И. Фоминой, я направилась к остановке конки, чтобы ехать домой. Шла я гостиным двором — Садовой и Невской линиями — и в витринах магазинов, как назло, как в насмешку, было навалено, лезло в глаза, дразнило меня все то, что было нужно для ребячьего белья и платья! Всякие материи — ситцы, байки, фланель... Сколько из этого можно было выкроить ишить штанишек, платьиц, рубашонок! Как, наверно, было бы приятно надеть на иззябших детей эти тепленькие, мягкие бумазейки в цветочках, горошках, в полоску, в ягодках-земляничках!

И вдруг словно кто меня толкнул! Не думая, не размышляя (если бы подумала, поразмыслила, то, конечно, никогда не сделала бы этого!), я взялась за ручку двери одного из магазинов и вошла. Это была отчаянность, — пропадай моя телега, все четыре колеса! Ведь люди же они, люди... Неужели не поймут, не помогут?

Если бы я хоть на секунду подумала трезво, то на этот вопрос ответила бы себе отрицательно. Конечно кет, не помогут, не поймут! Вернее всего, вызовут полицию, и меня арестуют... Но в тот час я не думала ни трезво, ни как-нибудь иначе. Думать мне не хотелось (бывает ведь в жизни и так?), да и некогда было: я была уже внутри магазина, и приказчик вежливо спрашивал меня, что мне угодно.

Я сказала, что хочу видеть хозяина магазина.

Подошел хозяин — учтивый, безличный гостинодворец.

— Что прикажете, сударыня?

— Я хочу сделать оптовый заказ! — брякнула я вдруг вдохновенно.

— Пожалуйста-с... — пригласил меня хозяин в комнату позади магазина.

Там никого не было. Усадив меня у столика, на котором скучали жестяной чайник и недопитые стаканы, хозяин магазина смотрел на меня вопросительно. Надо было говорить... Что сказать ему?

Я сказала ему правду. Про арестованный и сосланный сельский сход. Дети замерзнут, если их не одеть. Я такая-то, вот мой паспорт. Живу там-то, учусь на Высших женских курсах. Конечно, он может мне поверить, но вправе и не поверить. Если поверит, пусть отпустит бязи на белье, байки, бумазеи.

Единственное, о чем я, конечно, умолчала, — это, что пришла не от себя лично, а от организации политического Красного Креста. Но, впрочем, в то время он, вероятно, и сам понимал это.

Собеседник мой не смотрел на меня. Он уставился глазами в пол. Он молчал, молчал упорно, долго. Я успела за эти минуты понять, что я наделала, и прийти в отчаяние от собственного своего идиотизма!

— Хорошо, — сказал наконец хозяин магазина, подняв на меня ничего не выражавшие глаза. — Завтра об это самое время. Приготовлю, что могу. И с соседями потолкую, — может, и они...

Трясаясь в вагоне конки к Васильевскому острову, я не знала: радоваться мне? Печалиться? тревожиться? Вдруг приду завтра, а меня — цоп! Да и не во мне дело! Вдруг я, полоумная, провалила весь «Кружок помощи ссыльным»? Положим, я обо всем умолчу, никого не назову, ничего не открою... Но вдруг они все-таки дознаются и об остальных?

Дома я никому ничего не сказала. Даже мужу. Я боялась, что он, как старший и гораздо более умный, чем я, докажет мне неоспоримо, черным по белому, что я сделала глупость, если не хуже, и после этого мне уже и самой не захочется ехать завтра в гостиный двор... А ехать надо, — в этом я была почему-то почти уверена. Ведь если бы хозяин магазина хотел меня арестовать, говорила я себе, он мог преотлично сделать это сегодня, а вот не сделал же!

Логично? Логично! Могло, конечно, быть и по-другому, — он мог принять меня за авантюристку, желающую поживиться его товарами...

Но вряд ли воры и жулики бывают такие откровенно доверчиво-беременные, как я!..

Логично, все логично...

Одного только я себе не говорила, но этот страх жил в моем сознании: хозяин магазина мог просто оказаться черносотенцем, и тогда все мои логичные, разумные доводы окажутся — пффф! — пух с тополей, не больше!

Назавтра, в условленное время, я была в магазине. Хозяин снова привел меня в заднюю комнату, я снова увидела чайник и недопитые стаканы...

Нет! Не только чайник и стаканы!

— Вот! — жестом «Отсель грозить мы будем шведу!» показал он мне целую грудку отрезков материй. — Вот... Тут — бязь, байка, бумазея, фланелет...

Я стояла перед ним ну пень пнем! Совершенно оглушенная неожиданной радостью!

— Это от меня, — сказал он скромно. — Ну и кое от кого из соседей... Сгодится?

— Красота! — выдохнула я в восторге.

Когда я много позднее рассказала все это Маше, она в этом месте моего повествования сказала иронически:

— Ну, тут ты, конечно, бурно бросилась на шею хозяину магазина?

— Не бросилась... — поправила я. — Но, знаешь, ей-богу, мне этого очень хотелось! Такой молодчинище!

Тогда, в зиму 1906/07 года, такой случай еще был возможен. В последующие годы реакции мне при всем моем легкомыслии уже не пришлось бы в голову проделать такое!

— Сейчас мои молодцы погрузят вас на извозчика, — сказал мне хозяин магазина. — А вот тут, — протянул он мне счет, — тут у меня для порядку-с: точная опись всего товара — количество, качество, цена... Имейте в виду, цены без запроса: как говорится, прикс-фикс! И расписка: деньги получены мной сполна... Извольте-с!

И он подал мне расписку, заговорщицки подмигивая.

Я ехала на извозчике. Касалась ботиками отрезков материи, наваленных в сани. Обнимала руками горку отрезков, положенных рядом со мной на сиденье. И от радости смеялась чуть не вслух!

О чем я думала тогда? Вероятно, о том же, что я хорошо помню всю жизнь: что хороших людей много, больше, чем мы знаем и думаем, больше, чем дурных! Что размышлять и рассуждать логически, конечно, превосходно, даже совершенно необходимо, но иногда можно послушаться нерассуждающего бездумного порыва, инстинкта, что ли, или как там его называют! Ничего общего с умом такой порыв не имеет — он, скорее, сродни самой чистокровной глупости, — но порою бывает лучше всякого ума!..

Однако чуть ли не самое интересное ждало впереди!

Дома надо было поскорее спрятать все «дары гостиного двора». Для этой цели у нас имелся замечательный тайник. В нашей квартире, вероятно, помещалось когда-то ателье фотографа, — маленькая дверь вела из передней на какой-то чердак под стеклянной крышей. Наверно, под этой крышей у фотографа были повешены на проволоках шторы, и фотограф, передвигая их палкой, добивался нужных эффектов освещения.

Этот фоточердак у нас никогда не пустовал. Сюда приносили и складывали нелегальную литературу и все, что требовало тайны. Маленькую дверь, ведущую из передней на фоточердак, мы задвигали большим книжным шкафом.

И вот, когда мы — всей семьей! — отодвинули в этот день книжный шкаф, маскирующий дверь, внесли на фоточердак отрезки материи и уже задвигали шкаф на прежнее место, у входной двери внезапно раздался звонок! Кто-то сдуру, не сообразив, отпер входную дверь с лестницы — и в переднюю с торжествующим лицом вошел околоточный!

Начал он свой визит с того, что, упершись могучим плечом, любезно и предупредительно помог нам дотолкнуть книжный шкаф до нужной точки. Что шкаф прикрывает собою маленькую дверь, этого околоточный заметить уже не мог. Затем он проследовал за мужем в его кабинет.

Это был уже не первый визит околоточного к нам. Он приходил еще за несколько времени до этого и принес мужу медаль, пожалованную за участие в русско-японской войне. Медаль эта (она хранится у меня и сегодня) была медная, с выбитыми на ней словами: «Да вознесет вас господь в свое время!»

Говорили, что проект такой медали в ознаменование грядущей победы над японцами был представлен на одобрение царю Николаю Второму еще в начале войны. Надпись на ней предполагалась: «Да вознесет вас господь!» Царь сообразил, что в разгар непрерывных поражений (Тюренчен, Ляоян, Мукден, Порт-Артур) рановато думать о медали, награждающей участников победы. Он написал на представленном ему проекте не «одобряю», не «отклоняю», а — «в свое время», что значило: «доложить об этом позднее, в свое время». Люди же, представлявшие на усмотрение царя эскиз медали, поняли это как предложение царя добавить эти три слова к надписи! И — добавили! И медаль появилась в таком смехотворном виде: «Да вознесет вас господь в свое время!»

Медаль была пожалована участникам русско-японской войны безвозмездно. Но одновременно с медалью околоточный принес мужу очередной орден — Анны III степени, а за орден уже полагалось платить, — помнится, рублей 20–30. Время было еще революционное — 1906 год, муж сказал, что отказывается от ордена.

Околоточный не очень удивился, — такие отказы тогда были не редки. Он только спросил мужа, какой мотив отказа от ордена. Муж сказал, что у него нет денег для уплаты. Околоточный ушел, огорченный и разочарованный, — прямой убыток! — он ожидал чаевых, для того и принес орден самолично, а не прислал его с городовым!

Несколько дней спустя околоточный явился вновь с сообщением, что ввиду мужниной несостоятельности орден жалуются ему даром. Что было делать? Пришлось принять.

И вот теперь, когда мы общими усилиями заслоняли шкафом дверь, ведущую на чердак, — здрасте! поздравляю вас! — околоточный явился уже в третий раз. Он пришел сообщить, что постановление о невзыскании с мужа денег за орден отменяется. Поскольку же муж уже принял орден и расписался в его получении, он обязан за него заплатить. «В случае же неподчинения и неуплаты стоимость будет взыскана судебным порядком».

Муж был так рад отсутствию связи между приходом околоточного и работой «Кружка помощи ссыльным», что беспрекословно заплатил за орден и даже дал околоточному на чай, — чего тот так долго добивался!

Матери, полученные от гостинодворцев, были отосланы в Сибирь. Через некоторое время оттуда пришло письмо, подтверждающее получение, и маленький любительский фотоснимок: все ребятишки — в обновках: в новых рубашонках, штанишках и платьицах.

После двух лет работы «Кружок помощи ссыльным» стал разлаживаться, деятельность его очень ослабела. Кто-то заболел, кто-то уехал из Петербурга, кто-то просто охладел к работе, — а ведь нас было всего шестеро! Так дело и распалось.

Тогда же — в начале 1909 года — меня позвали работать в «Группу помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы». Меня вызвала к себе Марина Львовна, у нас был долгий, откровенный разговор, и я не сочла возможным умолчать о рассказанном здесь случае моей невыдержанности и неосторожности... Пусть она знает, кого зовет работать в свою группу, пусть подумает, принимать меня или нет...

Меня взяли работать «в Шлиссельбургскую группу». Думаю, что пожалеть об этом никому не пришлось. Но Марина Львовна иногда осторожно напоминала мне: «И пожалуйста... Да?»

6. Мастерские — выписка продуктов — библиотека

Труд тюремного врача проходил в ежедневной борьбе. Каждая победа — даже самая маленькая — доставалась доктору Эйхгольцу недешево.

Над ним стояло тюремное начальство. На всякое предложение ввести в быт заключенных что-нибудь новое, хотя бы насущно-необходимое, начальство отвечало равнодушно и жестоко:

— Мы не имеем права тратить народные деньги на то, чтобы сохранять или продлевать жизнь преступников...

Или:

— Тюрьма не богадельня. Не следует делать ее привлекательной, иначе люди будут стремиться нарочно совершать преступления, для того чтобы их посадили и дали им возможность наслаждаться всеми благами тюрьмы.

Совершенно цинически-издевательский был такой довод:

— Разве правильно, чтобы крестьянин — наш мужичок, сермяжный герой! — ел ту же кашу, какую едят враги общества и порядка?

Этот последний довод приводили обычно те, кто были рады содрать с «сермяжного героя» еще и восьмью шкуру!

Такова была точка зрения начальства, — а ведь власть-то была у него, а не у доктора Эйхгольца! Доктор понимал, что доказывать надо не отвлеченными рассуждениями о морали, о справедливости и человечности. Нет, он говорил с начальством на трезвом языке цифр. Он доказывал, что доводить заключенных до заболевания цингой и туберкулезом убыточно: содержание в больнице и лечение обходятся более чем втрое дороже обыкновенных расходов по содержанию в тюрьме здоровых заключенных. Доктор не распространялся на тему о благотворном и спасительном влиянии труда на заключенных, о том, что труд спасает их от отчаяния и гибели, — он знал, что такими разговорами никого не проймешь. Вместо этого доктор Эйхголец с цифрами в руках доказывал начальству, что расходы по устройству мастерских не только вернутся с лихвой, но еще и окупят самое

содержание заключенных в тюрьме. Доктор не всегда достигал своей цели, однако бывало и так, что порою он все-таки убеждал начальство, и оно соглашалось на его предложения.

Так получилось и с устройством мастерских. Правда, здесь сыграли роль не только убедительные доводы доктора. Гораздо весомее было то, что предложение его создать мастерские совпало с новым курсом в тюремном ведомстве: курсом на использование труда заключенных. А решающую роль сыграло еще и то, о чем не говорили: труд заключенных был очень выгоден и для казны, и для самого начальства. В 1912 году труд этот дал казне почти 5 с половиной миллионов рублей дохода. Погрело на нем руки — как я расскажу дальше — и тюремное начальство.

На заключенных же — этим начальство, правда, не интересовалось, но это было неоспоримо — труд этот действовал в полном смысле слова оздоравливающе: он прежде всего создавал какой-то интерес в жизни... Если эти строки прочитает скептик, предлагаю ему посадить в горшок с землей зерно или семя цветка. Скептик будет вскакивать с первым лучом солнца, чтобы взглянуть, как вытянулся за ночь проклюнувшийся накануне из-под земли стебелек и не раскрылась ли цветочка?

Труд не только спасал заключенных от угнетающей монотонности тюремной жизни. Он еще давал им заработок, и это было далеко не маловажно.

Во всех тюрьмах существовало право, очень ценное всеми заключенными: выписывать за свои деньги продукты из тюремной лавки — на четыре рубля двадцать копеек в месяц. Право это, как, впрочем, и все, что предоставлялось людям, лишенным всяких прав, было непрочным, подверженным всяким случайностям. Хотело начальство — право на выписку продуктов признавалось. Не хотело начальство — его не существовало. Точно так же и разрешение на ежемесячную выписку продуктов из тюремной лавки то давалось в разных тюрьмах, то отнималось. Изменялась иногда и сумма разрешаемой выписки, и, конечно, не в сторону увеличения.

Всякое покушение на отмену выписки продуктов встречало ожесточенное сопротивление со стороны заключенных — протесты, которые влекли за собой наказания, заключение в карцер на много суток. Заключенные прибегали и к голодовкам, подрывавшим силы

людей, и без того измученных, обессиленных. Люди боролись за право на выписку продуктов, как за право на жизнь. Ведь на четыре рубля двадцать копеек в месяц можно было приобретать дефицитные, жизненно необходимые продукты: жиры, сахар, колбасу, селедки, а также табак, мыло, зубную щетку и порошок, почтовые марки.

Но для того чтобы осуществить свое право на выписку продуктов, надо было прежде всего иметь ежемесячно эти желанные четыре рубля двадцать копеек, а были они далеко не у всех. Некоторые заключенные, главным образом политические, получали деньги по почте от родных. Остальным политическим — их было большинство — посылала по четыре рубля двадцать копеек в месяц наша «Шлиссельбургская группа». У Марины Львовны был список политических заключенных Шлиссельбургской каторжной тюрьмы, она хранила его у кого-то из друзей. Берегли этот список, как око, — собрать, составить его было делом очень трудным.

Однако иметь список тех, кому надо посылать деньги ежемесячно, еще недостаточно для того, чтобы это осуществлять. Надо было еще знать, от кого, от чьего имени посылать эти деньги. В почтовых бланках полагалось указывать, кем доводились заключенным те лица, которые посылали им деньги: матерями, отцами, сестрами, братьями, да еще писать тут же имена, отчества, фамилии и адреса отправителей.

В общем, посылаемая сумма была пустячная, а трудов, усилий, головоломки вокруг нее был непроходимый лес!

Однако главная трудность — иногда почти непреодолимая — была еще не в этом, а в другом обстоятельстве. Как ни странно, трудность получилась из-за того, что между заключенными политическими и уголовными существовали в Шлиссельбурге особенные отношения, необычные в большинстве тюрем. Тон в Шлиссельбурге, как я уже говорила, задавали политические. Они прежде всего резко расслоили уголовную массу. Уголовники были очень разные, разными были и мотивы, и характер совершенных ими преступлений. Были преступления случайные, были и такие, которые хотя и квалифицировались как уголовные, но, в сущности, являлись по своим мотивам чистейшим образом политическими (такими были, например, многие преступления, совершенные стихийно во время аграрных беспорядков). Конечно, великосветский убийца граф О'Бриен де Ласси холодно задумал свой дьявольский план уничтожения остальных

членов семьи, мешавших ему единолично завладеть миллионным наследством. Он отлично знал, что он делает и зачем ему это нужно. Но сколько было уголовников, совершивших свои преступления под влиянием дремучей темноты, невежества, привычной, вошедшей в плоть и кровь грубости! А сколько темных дел было совершено в состоянии опьянения или аффекта!

Все такие уголовники, естественно и закономерно, тянулись к политическим, более молодые среди них фактически начали в Шлиссельбурге новую жизнь.

Конечно, были среди уголовников и такие, которые относились к политическим резко враждебно. Не сближались с ними ни граф О'Бриен де Ласси, ни шпионы, провокаторы, предатели всякого рода. Такие были и в Шлиссельбурге, как и во всех других тюрьмах, наушниками у начальства. Они чувствовали себя неуютно среди подавляющего числа заключенных, относившихся к ним с презрением. Начальство оберегало своих верных подлипал, сажало их в особые камеры, составлявшие словно особое государство в общем тюремном государстве. Такую камеру остальные заключенные называли «сучий куток».

Но ко всем уголовникам, в ком сохранилась живая душа, политические относились, как к товарищам. Позиция политических была твердая и определенная с первых же дней: «Все то, что было раньше, на воле, осталось там, за стенами крепости. Здесь мы, правда, люди с неодинаковым развитием и образованием, и это надо энергично выравнивать, но в остальном мы люди одной судьбы, одной борьбы с общим врагом — тюремным начальством. И нам нужно сплочение, а не распыление сил».

В каждой камере, где оказывался хоть один политический заключенный, почти неизбежно возникал кружок, и начиналось то, что после революции называли ликбезом: безграмотные учились грамоте, малограмотные привыкали к книге. Грамотные учились, читали, изучали иностранные языки. Политические читали лекции, делали доклады, рассказывали об интересных книгах.

Душою всего были такие политические, как Борис Жадановский, Ф.Н. Петров, Илья Ионов, И.П. Вороницын, М. Трилиссер и «вожак и любимец Шлиссельбургской каторги» сын Марины Львовны Владимир. У него была драгоценная способность подходить ко

всякому человеку с интересом, с готовностью подружиться, а главное, с искренним желанием помочь, чем только возможно. Во всех камерах, где он сидел, — и в больших, на 21 человека, и в меньших, — на работах, на прогулках вокруг Владимира всегда теснились люди. Политические заключенные принадлежали к разным партиям, имели разные убеждения, так сказать, верили в разных богов. Между ними загорались страстные споры. Владимир проявлял в этом редкую терпимость. За то, что он считал правдой, он готов был стоять железно, насмерть, но к чужому убеждению, хотя бы и разнившимся от его собственных, он относился с уважением. Он хотел переубедить инакомыслящих, а не перекричать их. Это впечатляло людей, привлекало их к нему.

В Шлиссельбурге сплоченность с политическими спасла и возродила не одного уголовника. Связь между ними особенно сильно укреплялась так называемой «коммуной». «Коммуна» состояла в том, что все продукты и табак, купленные на деньги, получаемые с воли некоторыми заключенными (преимущественно политическими), делились поровну между всеми обитателями камеры, включая и таких, которые никаких денег с воли не получали.

Для «Шлиссельбургской группы» это означало необходимость как можно больше расширить круг тех заключенных, которым мы посылали по четыре рубля двадцать копеек в месяц. Значит, надо было каким-то способом узнать фамилии и имена-отчества не только самих заключенных, но и тех родственников, от чьего имени мы должны были посылать деньги в крепость... Как узнать это? Предположим, некоторые политические могли собрать эти сведения среди товарищей, — а дальше? Как передать эти сведения нам?

На помощь приходили испытанные, так сказать, классические способы, старые, как сами тюрьмы. Прежде всего, эзопов язык. Им широко пользовались при разговорах во время свиданий — прежде всего для сообщения политических новостей. «Социал-демократы» — иначе «СД» — обозначались, как «Степан Дмитриевич». Точно так же «социалисты-революционеры» («СР») назывались «Семен Романович», а «кадеты» (КД) — «Константин Дмитриевич». Вопрос: «А что, дядя Петя все еще живет на Кабинетской улице?» — означал: «Продолжает ли Столыпин (Петя) быть председателем кабинета министров?» Государственную думу называли маленькой Домной,

Дашей или Дуней, интересовались, правда ли, будто у нее слабо действует левая ручка, то есть левая часть депутатов. Конечно, эзоповым языком пользовались и для передачи сведений, нужных для ежемесячной посылки денег тому или другому из заключенных.

Служили для этого и так называемые «почтовые голуби», то есть тюремные надзиратели, доставлявшие нам в Петербург письма от заключенных. Верные, надежные люди попадались среди этих надзирателей очень редко. При этом никак нельзя было иметь уверенности в том, что «почтовый голубь» не показывает начальству тех писем, какие «несет в клюве». Поэтому приходилось прибегать к средству тоже старому, почти как мироздание: посылаемое с надзирателем письмо было самого невинного свойства, а скрытую его «начинку» писали внутри конверта молоком или лимонным соком. В общем, нужна была сверхосторожность для того, чтобы «почтовый голубь» не «засыпался» сам и не подвел заключенного-шлиссельбуржца, автора передаваемого письма, под карцер или другое наказание.

Постепенно заключенных, получающих с воли деньги на ежемесячную выписку продуктов, становилось все больше. Благодаря «коммуне» жизнь заключенных значительно улучшилась. Но нам, участникам группы, становилось с каждым днем яснее, что переводить деньги на такую огромную массу заключенных (ежемесячно больше тысячи рублей!) наша «Группа помощи» не сможет.

Вот тут и пришли на помощь мастерские для заключенных. Труд в этих мастерских оплачивался, но разные категории заключенных получали за одинаковый труд неодинаковое вознаграждение. С каждого заработанного рубля следственный заключенный получал по 60 копеек. Каждый срочный (то есть осужденный на срок) получал с заработанного рубля 40 копеек, каждый заключенный из исправительного отделения — 30 копеек и, наконец, каждый бессрочно-каторжный — 10 копеек. Многие политические, наиболее деятельные, любимые и уважаемые среди товарищей, были — бессрочные, каторжники-«вечники». Иным из них, как, например, участникам военных восстаний, смертная казнь была в свое время заменена пожизненным заключением в каторжной тюрьме. И все они получали только 10 процентов тех денег, какие причитались им за работу в мастерских! Остальные 90 процентов составляли

своеобразную «прибавочную стоимость», одна половина которой шла в царскую казну, а вторая — «на вознаграждение чинов администрации, кроме медицинского персонала». Полным рублем не оплачивалась и работа остальных групп заключенных, — только вычиталось с них меньше, чем с «вечников», а суммы, удерживаемые с них, получали то же применение... В общем, «чины администрации» имели неплохой доходец!

Таким образом, для того, чтобы получить «чистыми» четыре рубля двадцать копеек для месячной выписки и продуктов, каторжанин-«вечник» должен был выработать «валовую» сумму в сорок два рубля в месяц...

В этом отношении мы могли помочь лишь очень немного. Продукцию некоторых мастерских — переплетной, мебельной, картонажной — «Шлиссельбургская группа» приобретала от чье-либо фиктивного имени. «Товар» этот доставляли в Петербург и там продавали среди знакомых, плативших за него вдвое, втрое и даже больше. Эти деньги уже целиком шли на нужды заключенных. Хорошо раскупались «шлиссельбургские открытки», изящно скомпонованные из засушенных цветов и листьев. У меня долго хранились две-три таких открытки. Потом кто-то попросил дать их для какой-то выставки, и, как водится, мне их не вернули. Сохранились ли вообще теперь где-нибудь образцы этой продукции заключенных Шлиссельбурга, не знаю.

Много средств и труда положено было на создание библиотеки Шлиссельбургской тюрьмы.

В этом, как и во всем остальном, широко участвовал окружающий мир. Он давал нам и самые книги, и деньги для их приобретения.

Поначалу библиотека в Шлиссельбурге имела всего сотни две разрозненных книг. У нее не было своего помещения, ютилась она на нескольких полках — на площадке лестницы. В последние годы перед революцией она уже насчитывала больше 10 тысяч томов. О ней писали многие, в том числе профессор М.Н. Гернет. В «Истории царской тюрьмы» он упоминает о том, что библиотека в Шлиссельбурге была создана трудами и усилиями Марины Львовны.

Много позднее, в Великую Отечественную войну с фашизмом, эти книги были сожжены гитлеровцами.

Сохранился рассказ о следующем диалоге между тюремным священником и политическим заключенным:

— Книг много. Слишком много! — сказал священник. — Всех не перечитаешь...

— Так ведь и хлеба много! — возразил заключенный. — Всего хлеба не съешь, а без него умрешь...

Что значат для заключенных книги — понятно всякому. И в Шлиссельбургской каторжной тюрьме книги, как и везде, помогали бороться с опасностью духовного и умственного голода, отупения и деградации. Для многих заключенных-шлиссельбуржцев книги оказались и средством приобрести обширные знания.

...«Только здесь, — писал в письме Борис Жадановский, — я начал серьезно читать, и за это время — 1 2/3 года — я успел прочесть многое, многое понять, много поставить себе вопросов, на которые, конечно, еще не нашел ответа. Самое важное — то, что эти вопросы поставлены».

...«Именно теперь, — пишет он в другом месте, — я все больше и больше вхожу в науку, все больше познаю ее прелесть».

Владимир Лихтенштадт пришел в Шлиссельбург молодым — правда, уже солидно образованным в области математики, естественных наук, философии, литературы. Но был он в ту пору целиком во власти идеалистического индивидуализма. В социальных науках знания его были односторонни. От марксизма он был в то время очень далек. Однако за годы заключения он приобрел огромное количество разнообразных знаний. В частности, по собственному его выражению, он «шел к марксизму на всех парах». В Шлиссельбурге вряд ли было много читателей, более усердных и жадных, чем Владимир. Никто ведь и не работал в тюрьме творчески, так много, как он. За девять лет пребывания в Шлиссельбурге он написал ряд научных работ, переводов и оригинальных произведений, — подробнее о них скажу дальше.

Конечно, в становлении марксистского мировоззрения Владимира в сильнейшей степени участвовали товарищи по заключению — И.П. Вороницын, Ф.Н. Петров, М. Трилиссер, Б.П. Жадановский и в особенности Г.К. Орджоникидзе (он провел в Шлиссельбурге 1912–1915 гг.). Однако только «с голоса», хотя бы и с самых чистых

товарищеских голосов, настоящего образования не получишь. Решающее значение имели, надо думать, и здесь книги.

Вот почему так любили шлиссельбуржцы свою тюремную библиотеку, так дорожили ею! Они посвящали ей много времени и труда. Тот же Владимир был не только усердным читателем, но и ярким библиотечным работником, пропагандистом книги. Мы закупали книги для шлиссельбургской библиотеки, руководясь теми «списками желательных книг», которые составлял Владимир с товарищами и пересылал матери в письмах. В библиотеке был заведен идеальный порядок, составлена прекрасная картотека, — все это сделали, конечно, сами заключенные.

Была, наконец, одна совершенно неофициальная, законспирированная отрасль библиотечной работы, которая, правда, доставляла библиотекарям настоящее удовлетворение, но и причиняла им немало горестей и волнений.

Однажды кто-то связал меня с П. Сойкиным — владельцем издательства и типографии по Стремянной улице в Петербурге. П. Сойкин пожертвовал нам — конечно, неофициально — для библиотеки Шлиссельбургской каторжной тюрьмы много книг. Он поручил заведующему книжным складом издательства «заняться» мною, то есть выдать мне пожертвованные книги и дать в помощь людей, чтобы вынести этот багаж и погрузить его на двух извозчиков (на втором ехала помогавшая мне в этой «операции» А.М. Бутягина). В числе многих книг заведующий предложил нам некоторое количество «божественной» литературы: богословские сочинения, «Жития Святых», брошюры из серий «Святые Праотцы», «Библейские рассказы», а также комплекты журнала «Русский Паломник» и т. п.

— Вам такие книги тоже нужны? — спросил заведующий складом с оттенком сомнения в голосе (возможно, П. Сойкин сказал ему, для каких читателей предназначены эти книги).

— Очень нужны! Очень! — обрадовались мы.

Мы не лгали. Нам в самом деле были очень нужны эти книги, хотя назначение их было особое. В переплетной мастерской Шлиссельбургской крепости они переплетались вперемежку с книгами запрещенными, нелегальными. Титульный лист и первые 15–20 страниц из душевспасительной книги перемежались страницами нелегальной книги, дальше снова «божественное», затем опять

нелегальное. Такие книжные «слоеные пироги» очень ценились в Шлиссельбурге. Опасность провала была не так уж велика: книги выдавали только самым верным людям. Для верности на книгу наносился еле заметный опознавательный знак. А тюремное начальство было лениво и не любопытно: полистает надзиратель или даже инспектор книгу (шрифт, конечно, подбирался в точности совпадающий) — и пройдет мимо. Самым надежным образом страховало от провалов также и удивительное невежество надзирателей. Были, например, среди них такие, что твердо верили: «Капитал» Маркса — это учебник для желающих изучать коммерческое дело!

Ко всеобщему удовольствию и пользе, все шло отлично до начала 1917 года. Этот год многие в Шлиссельбурге, как и во всей стране, встретили с большими надеждами. Оттого ли, что идти дальше в смысле нелепости и изжитости старого строя казалось уже невозможным, или оттого, что все понимали необыкновенную трудность политического тупика, в который зашел царизм (несчастливая война, усиливающиеся трудности внутри, страны, рост революционного недовольства), но у многих в те дни настроение было не просто выжидательное, а радостно-выжидательное... Что принесет новый, 1917 год?

«Посмотрим, посмотрим!» — так, словно предвкушающе потирая руки, писал Владимир 1 января 1917 года в письме к матери. — Посмотрим, что принесет нам семерка — мистическое число, число завершающее, число мудрости?»

Но прошло всего пять дней, и Владимир занес в свой дневник:

«6 января 1917 года. Печально начался новый год. 4 января останется в анналах Шлиссельбургской крепости как один из дней траура. Не по человеку, — по книгам, и по каким книгам! Жалко старого, жалко остаться в будущем на прежнем положении — оторванными от живого слова... И не хочется даже гадать, что принесет нам 17-й год».

Что же случилось?

Я уже рассказывала о «великосветском убийце» графе О'Бриен де Ласси. В Шлиссельбурге бандиту жилось отнюдь не плохо. В отличие от политических заключенных, О'Бриен де Ласси, как потомственный дворянин, не был закован в кандалы. Был он на привилегированном

положении и в отношении питания, лечения, снабжения, сношений с внешним миром, — его родня щедро подкупала тюремщиков. Отношения О'Бриен де Ласси с начальством были, естественно, самые доброжелательные... И конечно, проникнув случайно в тайну «слоеных» книг, разве мог де Ласси скрыть ее от начальства!

Почти вся нелегальная часть библиотеки была изъята. Для заключенных это было катастрофой...

Если бы тогда знать, что через два месяца рухнет она, Шлиссельбургская Бастилия!

Вся работа, описанная мною здесь в самых кратких чертах, — по питанию заключенных, лечению, снабжению их деньгами для выписки продуктов из тюремной лавки, по мастерским и библиотеке — требовала не просто денег, а так называемых «серьезных денег». Их не было и не могло быть у самих участников «Группы помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы». Среди нас не было ни одного сколько-нибудь состоятельного. Все мы были людьми так называемых «интеллигентных профессий» со скромным заработком.

Где и как добывали мы необходимые для нашей работы «серьезные деньги»?

Давал нам их — я уже говорила — «негласный мир хороших людей». Одни из них, по собственному желанию, делали ежемесячные взносы на работу «Шлиссельбургской группы». Их имена и адреса составляли, как мы называли, «золотой список золотых людей». Список этот двое-трое из нас знали и помнили наизусть, как таблицу умножения. Были и такие «сочувствующие», — они вносили деньги эпизодически, когда мы являлись за этим. Круг жертвователей-плательщиков непрерывно расширялся: у каждого нового мы спрашивали, к кому из своих друзей или знакомых он советует нам обратиться и разрешает ли нам при этом сослаться на него?

Было у меня нечто вроде отряда волонтеров. Марина Львовна называла это в шутку: «ваш кордебалет». Это были дамы из всякого общества, главным образом интеллигентские жены, и помогали они порой очень действительно, с душой. В нашу «Группу помощи» они не входили, мы сознательно стремились к небольшому числу основных участников. Они знали, что я — член Шлиссельбургской группы

политического Красного Креста, знали приблизительно, что делает эта группа в Шлиссельбургской крепости. Но об остальных участниках группы — особенно о Марине Львовне и Якове Максимовиче — я им не говорила. Да и было им строго внушено, что спрашивать надо поменьше. «Речь, как говорится — серебро, а молчание, как оказывается, — золото!» — напоминала нам Марина Львовна. Кажется, именно этот привкус таинственности особенно нравился «кордебалетным» и импонировал им!

От времени до времени я звонила по телефону которой-нибудь из них:

— Анна Васильевна (или Любовь Петровна, или еще как-нибудь)! Знаете? «Давно я, грешница, лапши не ела!» Поедем к вашим поклонникам, а?

И мы отправлялись с Анной Васильевной (или Любовью Петровной) к ее поклонникам, друзьям и знакомым. Это часто давало отличный урожай.

Получали мы деньги и от учащейся молодежи. Во время лекций студенты и курсистки пускали по аудитории шапку или сумочку с приколотой запиской: «Для заключенных Шлиссельбургской каторжной тюрьмы». Шапка или сумочка обходила все скамьи и возвращалась с деньгами. Денег было, правда, не очень много, но это восполнялось количеством таких сборов во многих высших учебных заведениях.

Такие же нелегальные анонимные отчисления поступали от рабочих многих петербургских заводов.

Несколько раз в году мы покупали или, как это называлось, «откупали» в театрах спектакли. Театры брали с нас уменьшенную сумму — ниже средней цифры обыкновенного вечерового сбора. Кроме того, билеты на такие спектакли продавались не в кассе театра, — мы распространяли их сами среди хороших людей, а они знали, что платить надо дороже той цены, что напечатана на билете. Иные театры не брали с нас за спектакль ничего, — вся сумма сбора поступала на Шлиссельбург. Так поступал не однажды театр Веры Федоровны Комиссаржевской. Особенно горячим другом «Шлиссельбургской группы» был Передвижной театр, руководимый П.П. Гайдебуровым и Н.Ф. Скарской. На спектакли этого театра нам даже иногда не приходилось распространять билеты, — а это было

тяжелое, утомительное дело! — театр все делал сам, порою даже не предупреждая нас заранее! Звонит, бывало, П.П. Гайдебуров или А.А. Брянцев: «Приезжайте!» Мы мчимся в театр и узнаем, что они по своей инициативе, без всяких напоминаний с нашей стороны, решили отдать на нужды шлиссельбургских заключенных весь валовой сбор со вчерашнего спектакля.

Было у нас два ежегодных «доходных предприятия», очень быстро ставших традиционными, очень популярными среди петербургской публики. Одно — костюмированный вечер-маскарад на масленой неделе. Оттого, что билеты распространялись в определенном кругу — революционно-демократической интеллигенции, вечера эти протекали в очень уютной атмосфере. Второе — большой концерт артистов Московского Художественного театра во время ежегодных весенних гастролей его в Петербурге. Сейчас, более чем полвека спустя, глазами и слухом памяти я вижу лицо Василия Ивановича Качалова, слышу его голос в нежно-трагическом блоковском «О доблестях, о подвигах, о славе» или в злобно-торжествующем выкрике Альманзора: «Гяуры! Мой дар вам — чума!» Рядом с ним Иван Михайлович Москвин читает чеховский рассказ «Драма», и публика радостным смехом встречает непередаваемую интонацию самопредставления «писательницы Мурашкиной»: «Я — Мм-м-мурашкина... Драматург М-м-мурашкина». Подумать страшно, может ли быть на свете что-либо мурашливее, букашливее, таракашливее, чем это существо! С таким же восторгом, радостным и жадным, впитывала публика сцены из пьес Чехова и Горького в исполнении престарелого А.Р. Артема и совсем юных тогда Л.М. Кореневой, И.И. Берсенева, А.Г. Коонен. Гремели нескончаемые овации, актеров встречали и провожали аплодисментами, бросали им весенние цветы...

А мы, участники «Шлиссельбургской группы», радовались еще, так сказать, дополнительно: своим бесплатным участием в концерте актеры-«художественники» сильно пополняли нашу небогатую кассу!

Так же безвозмездно выступали в других наших концертах драматические артисты, инструменталисты, певцы, иногда сверхпрославленные, сверхлюбимые публикой. Особо хочется вспомнить, с какой поистине миллионерской щедростью помогал нашей работе Леонид Витальевич Собинов!

Здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о составе «Группы помощи политическим заключенным Шлиссельбургской каторжной тюрьмы».

Нас было 10 человек. Привожу — по алфавиту — фамилии. К сожалению, помню не все имена и отчества.

- 1) Аристова
- 2) Браудо, Любовь Исаевна
- 3) Бруштейн, А.Я.
- 4) Ильина
- 5) Каплан, Яков Максимович
- 6) Лихтенштадт, Марина Львовна
- 7) Познер, Ольга Сергеевна
- 8) Познер, — жена брата Ольги, имени не помню
- 9) Рысс, Мария Абрамовна
- 10) Фохт, Ольга Марковна.

Состав этот оставался неизменным до самой революции. Мы очень гордились тем, что не потеряли за все время ни одного человека, — это означало, что работали мы настоящим образом конспиративно.

С тех пор прошло 45 лет... Если кто-нибудь из этих людей жив еще и сегодня, пусть откликнется!

7. Соборное карцерное сидение

Бывает так: в большом коллективе людей у кого-нибудь одного возникнет мысль. Самая простая мысль, непритязательная, ничем не выдающаяся... И внезапно, как искра по нитке, мысль эта обежит всех остальных, зажжет в них ответный огонь — и станет всеобщей! Трудно даже вспомнить, кто первый высказал ее, высказал несмело, почти вопросительно: «А что, если бы..?»

Так случилось однажды в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Кто-то неожиданно высказал мысль: «А что, если бы превратить большой крепостной двор в благоустроенное место для прогулок, с разбитым вокруг цветником?»

Многим это показалось поначалу фантастическим. Так называемый прогулочный двор находился в северо-западном углу крепостной территории, — туда выводили заключенных для ежедневной прогулки, там молодые порой даже играли в подвижные игры, возможные для игроков, закованных в кандалы: в пятнашки, в городки. Невозможна была чехарда: слишком больно били цепи по спинам стоящих внизу!

Этот прогулочный двор походил на громадную свалку. Он буквально зарос вековой грязью, был засыпан камнями, обломками кирпича, всяким мусором, хламом и отбросами. Все эти нечистоты местами возвышались почти как шахтные терриконы... Нет, не то что сад вырастить на этом безнадежно загаженном пустыре, — даже добраться до земли сквозь все напластования мерзости казалось совершенно невозможным!

Однако, раз возникнув, мысль эта уже не захотела умирать. Ее сразу горячо подхватили многие заключенные.

В «старом Шлиссельбурге» — до 1905 года — существовали цветочные и огородные грядки, обрабатывали их заключенные на мелких клочках земли. Много лет на большом тюремном дворе Шлиссельбургской крепости росла яблоня, — ее посадил народоволец М.Ф. Фроленко на том месте, где были расстреляны Мышкин и Минаков, где повесили Рогачева и Штромберга, а позднее — А. Ульянова, Андреюшкина, Генералова, Осипанова и Шевырева. Эта «яблоня Фроленко» дожила и до «нового Шлиссельбурга». О ней

пишут в своих воспоминаниях иные из бывших заключенных «нового Шлиссельбурга».

О тяге заключенных ко всему живому, растущему, нуждающемуся, как дети, в покровительстве и заботе, говорят все, знающие тюремный быт, все, писавшие о тюрьмах и их обитателях. Существует старый-престарый рассказ об узнике, приручившем в своей тюремной камере паука. Паук не боялся, не убегал от него, и это доставляло узнику радость. Но паук надоел тюремщикам, а может быть, он нарушал их представления о чистоплотности? И один из тюремщиков прихлопнул паука. Не знаю, насколько достоверен этот рассказ, — да ведь дело здесь и не в его достоверности: важно то, что он дает понять, как велико может быть одиночество человека, запертого в одиночной тюрьме, его тяга к живым существам, настолько сильная, что заключенный может радоваться даже омерзительному пауку! Есть в литературе немало рассказов и о том, какое оживление в жизнь тюрьмы может вносить какой-нибудь приبلудный щенок или котенок.

В том же «старом Шлиссельбурге» заключенные одно время разводили кроликов. «Это, — пишет в своих воспоминаниях М.В. Новорусский (журнал «Былое», 1906 года, сентябрь), — создавало вокруг нас как бы иллюзию жизни в домоводстве... вносило даже своеобразный элемент нежности, обычно совершенно чуждый среде, где отсутствуют дети и вообще существа, вполне беспомощные». Характерно для отношения почти всех заключенных к этим кроликам, что их не уничтожали и не ели, — тех же немногих, кто это делал, считали чуть ли не людоедами!

Сам Михаил Васильевич Новорусский, проведенный в «старом Шлиссельбурге» более 20 лет, пишет в своих воспоминаниях о том, как он пытался высидеть цыплят. С большим трудом добыв у стражи два куриных яйца, М.В. Новорусский привязал их полотенцем к телу и в течение инкубационного периода согревал их собственным теплом. Днем это было неудобно, ночью — мучительно: боязнь раздавить будущих цыплят не давала спать.

Труды и тревоги Михаила Васильевича пропали даром: яйца были не свежие, даже, как оказалось, тухлые. Никаких зародышей будущих цыплят в них не было. Но М.В. Новорусский не оставил своей затеи. Он попытался сконструировать нечто вроде самодельного инкубатора (одна из построенных им моделей, как он узнал позднее, в точности

совпадала с инкубатором, изобретенным в XVIII веке знаменитым химиком Лавуазье, преподнесшим его в дар королеве Марии-Антуанетте для забавы!). Построив этот примитивный инкубатор, М.В. Новорусский добыл яиц, на этот раз свежих... «Едва ли, — писал он в тех же воспоминаниях, — кому-нибудь еще из куроводов всего света инкубация доставила столько бессонных ночей!» Приходилось чуть ли не ежечасно вставать, проверять нагрев и т. п.

Надзиратели относились к затее Новорусского с недоверием и насмешкой: делает, мол, яичницу и воображает, что у него что-то выйдет!

Когда на 21-й день вылупилось семь живых цыплят, тревог и забот стало у М.В. Новорусского еще гораздо больше. «Нужно было согреть и пасти цыплят и, значит, превратиться в наседку». Самым замечательным было то, что цыплята относились к М.В. Новорусскому как к своей мамаше-курице! Ведь он возился; с ними, кормил их, поил, — пушистые желтые комочки забирались к нему за пазуху, согреваясь около его тела! Цыплята всюду бегали за М.В. Новорусским, как за наседкой. Когда он, выходя, запирали их в своей камере, они поднимали отчаянный писк, а завидев его, спешили к нему со всех ног.

Сам М. В. объясняет необыкновенный успех, какой имели цыплята у всей Шлиссельбургской каторги, тем, что ведь до этого случая заключенные по 10, 15 и более лет не видали живой курицы или всамделишного петуха!

Не трудно понять, почему заключенные — уже в «новом Шлиссельбурге» — с такой горячностью и воодушевлением схватились за мысль разбить цветник на месте большого прогулочного двора. Ведь и цветов многие из них не видали уже много лет!

Не прошло и двух дней, как мечтой о цветниках и цветах заболели все, даже отчаянные скептики!

По поручению всей каторги выборные вступили в деловые переговоры с крепостным начальством. Протокола этих переговоров не сохранилось, да его, конечно, никто и не вел. Но мы все же можем установить сегодня — спустя полвека, — что именно «слушали» и что «постановили».

СЛУШАЛИ — предложения заключенных:

1) они превратят большой двор в благоустроенное место для прогулок;

2) очистят весь двор от вековых напластований грязи, мусора, кирпичей и камней;

3) вывезут все это за стены крепости и свалят на берегу Невы;

4) на тех же тачках привезут с берега землю, годную для цветочных клумб;

5) разобьют клумбы и вырастят на них цветы.

Все эти предложения начальство «слушало» и милостиво «постановило»: разрешить заключенным произвести эти работы, а также получить с воли семена и посадочный материал.

Работа закипела!

Стоял февраль 1912 года. Нарост мусора на прогулочном дворе смерзся, — разбивать его пешнями и ломами было тяжело. Но заключенных вознаграждала не часто и не всякому из них представлявшаяся в тюрьме возможность, вывозя мусор, хоть на короткое время выходить за стены крепости — чувствовать, как ветер обдувает лицо, видеть Неву, пароходы, идущие по ней к Ладоге и обратно.

От этих непривычных впечатлений — просторного неба, широких земных далей, всего того, что отсутствует в крепостных стенах, — размякали даже тюремщики! В воспоминаниях Н. Билибина есть замечательный рассказ о том, как однажды во время таких работ кто-то из надзирателей помоложе, расчувствовавшись, вспоминал, как ему привелось быть очевидцем казни Зинаиды Коноплянниковой (революционерки, убившей генерала Мина, зверски-жестокое усмирителя Московского восстания).

— Привезли ее, понимаете, сюда... Молодая, красивая, а уж одета как нарядно! Так жаль, так жаль... — повторял надзиратель, сокрушенно качая головой. — Ботиночки, понимаете, на ней шикарные!.. Так жаль...

Слушатели не сразу поняли, что «так жаль!» относится не к страшной казни Коноплянниковой, не к ее молодости, а к шикарным ботиночкам, которые то ли пропали, то ли достались кому-то, да вот — «так жаль!» — не рассказчику!

Через полтора месяца прогулочный двор стал неузнаваем! Его очистили, вымостили кирпичами большое овальное пространство для

прогулок заключенных. Некоторые в шутку называли это великолепие — «парк», «Летний сад», даже «Невский проспект».

А самое главное — вокруг прогулочного овала раскинулись громадные клумбы будущего цветника. Пока очищали двор, мостили его кирпичом, возили землю, разбивали клумбы, в камерах были высеяны в ящиках семена, доставленные в крепость Мариной Львовной. Когда потеплело, рассаду высадили в грунт, на клумбы. Всходы, веселя глаз, начали крепнуть, набирать силу. Кое-где — поначалу еще робко — стали распускаться цветы. Но первый состав семян, привезенный тогда в Шлиссельбург, оказался поздним, — настоящего расцвета следовало ожидать лишь в июле.

В начале июля 1912 года уже хорошо взошел и зеленел высеянный заключенными японский газон. Почки бархатцев набухли туго, они должны были расцвести с часу на час. Бархатцам радовались особенно, — без этого незатейливого цветка в памяти заключенных не вставало никакое представление о домашнем палисаднике. Украинцы с нежностью смотрели на тугие почки «чернобривцев» — бархатцев...

Настроение у заключенных было отличное. Громадный подъем вызвала дошедшая и до Шлиссельбурга весть о Ленских событиях весной 1912 года. Возникали какие-то надежды, ожидания...

Окрыляла людей, радовала их также проделанная огромная работа. Это был поистине геркулесов подвиг! Да и что, в сущности, он сделал, этот Геркулес? Подумаешь, — очистил конюшни царя Авгия! Может быть, они были и очень запакощены, эти авгиевы конюшни, но ведь на их месте Геркулес ничего не построил, ничего не посадил. Есть о чем помнить столько тысячелетий!

Заклученные ждали расцвета своего сада. И радовались.

И как раз в это время в Шлиссельбургской крепости случилась беда! Очередной призыв крепостного начальства напомнил заключенным о том, где они находятся, что их окружает. За какую-то провинность двое заключенных были подвергнуты телесному наказанию — высечены почти публично, в воротах крепости!

«Каторга» забурлила яростно, как никогда.

Не то чтобы в этом происшествии проявилось что-либо новое, никогда до этого не бывалое. Нет, телесные наказания в царских каторжных тюрьмах были делом вполне будничным, привычным. Порка была узаконена, было даже регламентировано назначаемое

количество розог — «от» и «до». Особая инструкция предусматривала максимум — 90 розог на одного наказываемого. В обычной и привычной шкале наказаний за проступки розги были одним из пунктов, — худшим, чем лишение свиданий или книг, но лучшим, чем расстрел или виселица.

Но у лучшей части заключенных — у политических — существовало особое отношение к порке, не такое, как к другим видам наказания. Широко применявшийся в Шлиссельбургской каторжной тюрьме карцер, куда сажали и на две недели, и на месяц, и даже на два месяца, был, конечно, страшным, зверски-жестоким произволом. Но телесное наказание — сечение розгами — несло еще с собой в сильнейшей степени то, что на официальном языке называлось «осрамительным» моментом. Розги были худшим из всех надругательств над человеческим достоинством.

«Ничто не может сравниться с этим, — писал в одном письме Жадановский. — Что значат перед сечением расстрелы, побои и т. п. Все это чепуха. Порка же — это гнусность, ниже которой быть ничего не может. Даже когда убили товарища, близкого товарища, это не казалось мне таким ужасным, как порка. Для меня в этом отношении, конечно, нет и не было никаких сомнений. За себя я вполне спокоен в том смысле, что, если бы меня выпороли, я сейчас же покончил бы с собой!»

И дальше он пишет в том же письме:

«Какими слабыми, жалкими, даже недостойными жалости казались мне самоубийцы! И, однако, теперь я пришел к тому убеждению, что при известных обстоятельствах не самоубийство, а отступление от самоубийства можно считать слабостью».

Таким же было отношение к сечению розгами у всех политических заключенных Шлиссельбурга. А между тем они ежедневно были под угрозой телесного наказания, потому что необыкновенно остро отстаивали чести и достоинство арестованных революционеров и вели непримиримую, не затихающую ни на один день борьбу за вежливое обращение с заключенными!

Особенно непримиримыми были в этой борьбе Ф.Н. Петров и Б.П. Жадановский.

Есть удивляющее совпадение в суждениях о Ф.Н. Петрове всех товарищей по Шлиссельбургу, воспоминаниями которых мы

располагаем. Почти все они характеризуют его, как «неутомимого бунтаря», «неуемного», «неукротимого протестанта». В этих оценках и определениях впечатляет основное: человек, заключенный «навечно», запертый в тюрьму до конца своих дней, лишенный неба и ветра, свободы и счастья, ограбленный во всех правах, бунтует! «Непримиримо», «неукротимо», «неуемно» бунтует, утверждая свои и своих товарищей достоинство и честь!

Судя по всем свидетельствам, Ф.Н. Петров необыкновенно смело боролся против «тыканья», требовал обращения на «вы», категорически отказывался повторять сакраментальную формулу приветствия: «Здравия желаю, ваше высокоблагородие!»

В воспоминаниях самого Ф.Н. Петрова («65 лет в рядах Ленинской партии». Гослитиздат, 1962) автор приводит очень яркий случай. Приехавший в Шлиссельбургскую крепость начальник Главного тюремного управления генерал Лучицкий, войдя в камеру Петрова, обратился к нему в грубой форме на «ты».

— Господин Лучицкий, — ответил Ф.Н. Петров, — я с вами на брудершафт не пил и потому прошу меня не «тыкать».

За эту дерзость Ф.Н. Петрова начальство постановило дать ему сто розог.

От наказания, вернее, от неизбежного вслед за ним самоубийства (у Петрова хранился в тайнике самодельный ножик) его оградило заступничество доктора Эйхгольца. Евгений Рудольфович составил акт о том, что по состоянию сердца Ф.Н. Петрова розги недопустимы. Розги были заменены шестьюдесятью сутками пребывания в карцере. Эта убийственная мера была приведена в исполнение — 60 суток карцерного сидения с перерывом в 15 минут после 30 суток. Однако вторые 30 суток Ф.Н. Петров досидел не полностью: спустя 20 суток он свалился замертво и прямо из карцера был доставлен в тюремную больницу. Доктор Эйхголец констатировал у него острую форму ревматизма, вызванную пятидесятисуточным лежанием на сыром цементном полу карцера.

Содержание в таком карцере, да еще в течение столь долгого времени, было, по существу, таким же убийством, как 100 розог!

Так же резко и непримиримо боролся с крепостным начальством Борис Петрович Жадановский. Недаром заключенные говорили ему шутливо: «Борись, Петрович!», на что он неизменно отвечал: «А я и

борюсь!» Малый ростом, щуплый, больной тяжелой формой туберкулеза, он сам иронически называл себя «скелетиком», — Жадановский был всего лишь разжалованный подпоручик, то есть, по представлениям крепостного начальства, невелика птица! А между тем в разговоре с ним начальство избегало местоимений «ты», «тебя», «твой». Хотя по инструкции полагалось говорить каторжанам «ты», шлиссельбургское начальство не решалось «тыкать» Бориса Жадановского. Он этого не позволял, не останавливаясь ни перед каким скандалом, не боясь никаких наказаний.

Однажды между приехавшим в Шлиссельбургскую крепость тюремным инспектором и Борисом Жадановским произошел следующий диалог:

— За что ты осужден? — поинтересовался тюремный инспектор.

— Я вам отвечу, если вы спросите вежливо.

— Что-о-о?

— Я требую вежливого обращения с собой.

— Как ты смеешь делать мне замечания? — вскипел тюремный инспектор. — Розог захотел?

Глядя ему прямо в глаза, Борис отчеканил:

— Розог я не боюсь. А с тобой больше разговаривать не стану. —

И, отойдя в сторону, стал невозмутимо барабанить по подоконнику (И.П. Вороницын. История одного каторжанина).

Тюремный инспектор, возмущенный «неслыханной наглостью» Жадановского, уехал из крепости, приказав дать Борису 25 розог. Однако начальник крепости, обрусевший прибалтийский немец Вильгельм Гансович Зимберг (с начала первой мировой войны он переименовал себя в «Василия Ивановича»), не торопился привести в исполнение приказание тюремного инспектора. Не то, конечно, чтобы Зимбергу было неприятно подвергать человека позору телесного наказания, — нет, таких деликатных чувств за Зимбергом не водилось. И не то чтобы он жалел Жадановского, — к этому он тоже способен не был. Просто Зимберг до смерти боялся огласки, газетной шумихи, не раз уже поднимавшейся вокруг дурного обращения с тяжело больным Жадановским. Поэтому Зимберг запросил тюремного врача (это было еще до Е.Р. Эйхгольца, тюремным врачом было доктор Шапошников), позволяет ли состояние здоровья Жадановского применение к нему розог?

Угадывая, что начальник крепости хочет трусливо спрятаться за врачебное заключение, Шапошников написал:

«Вследствие легочной чахотки не может быть подвергнут телесному наказанию. Врач В. Шапошников»... Тогда Зимберг с облегченным сердцем написал приказ:

«В ТЕМНЫЙ КАРЦЕР — НА ОДИН МЕСЯЦ. И. о. начальника тюрьмы Зимберг».

Оба — не только врач, но и Зимберг — отлично знали, что по состоянию здоровья Жадановского содержание его целый месяц в тюремном карцере, сыром и холодном, не менее опасно для его жизни, чем розги. Но Зимберг боялся не смерти Жадановского от чахотки, а тех осложнений, какие неминуемо повлекло бы за собой его самоубийство (никто в тюрьме не сомневался, что в случае применения к нему телесного наказания Жадановский покончит с собой). Врач же был равнодушный Понтий Пилат, готовый для своего спокойствия подписать все, что угодно крепостному начальству. Он подписал — и умыл руки.

Так и пошло. Борис Жадановский упорно, неотступно требовал вежливого обращения, в частности замены грубого «тыканья» вежливым «вы».

И.П. Вороницын в книге «История одного каторжанина» приводит эпизоды этой борьбы.

Входит, например, в камеру Бориса Жадановского надзиратель, совершающий ежедневную поверку. Не вставая и держа у рта кружку с чаем, Борис вопросительно смотрит на вошедшего.

— Я делаю поверку, — заявляет тот.

— Ну что же? Делайте!

— Когда делается поверка, арестант должен стоять... Встать! — повелительно повторяет надзиратель, беря Бориса за плечо. — Встать! Встать!

— Руки прочь! — кричит Борис, не вставая. — Я слышу и если не встаю, значит, не желаю!

Борьба Жадановского за вежливое обращение с заключенными еще обострилась, стала в настоящем смысле слова борьбой не на жизнь, а на смерть с приходом в Шлиссельбург помощника начальника тюрьмы Талалаева. Тяжелый и грубый хам, Талалаев ненавидел Жадановского тем яростнее, чем сильнее ощущал его моральную

высоту, — перед этим неоспоримым превосходством Талалаев нередко пасовал.

— Стой! Шапку долой! — крикнул однажды Талалаев, встретив Жадановского во дворе.

— Я без шапки ни перед кем стоять не буду, — ответил Борис. — Когда со мной здороваются, я отвечаю на приветствие.

— Ты — каторжный! — взревел Талалаев. — Ты обязан подчиняться команде.

— Не всякой команде, — возразил Борис. — А с теми, кто со мной разговаривает невежливо, я вообще не желаю говорить.

— Нет, ты будешь со мной разговаривать.

— Нет, не буду.

— Да я тебя, мозгляка, одной рукой раздавлю! — и Талалаев замахнулся на Жадановского.

Конечно, грубый, сильный, он мог бы одной рукой уложить на месте слабого Бориса. Но тот только посмотрел на него и оказал с отвращением:

— Дурак! Нашел чем хвастаться, — что жиру нагулял много!

И Талалаев не ударил. Опустил руку и зашагал прочь.

После каждой такой словесной стычки Талалаев требовал для Жадановского розог. И каждый раз начальник тюрьмы, все по тем же побуждениям, заменял порку двухнедельным или месячным карцером. Жадановский почти не выходил из карцера! Выйдет ненадолго — и снова посадили. Однажды получилось так, что из шести месяцев — 180 суток — Жадановский провел в темном карцере 118 суток! Четыре месяца из шести!

Такова была непрерывная борьба политзаключенных Шлиссельбурга за человеческое отношение, за вежливое обращение и в особенности против телесных наказаний.

И вот летом 1912 года, в разгар смутных надежд, навеянных Ленскими событиями, и радостного ожидания сада, разбитого заключенными, крепостная действительность напомнила о себе грубо и страшно: поркой, учиненной над двумя товарищами.

Вся «каторга» была сильнейшим образом взволнована и возмущена.

Группа заключенных, наиболее активных и уважаемых всей тюрьмой, постановила: протестовать. Форма протеста: вести себя так,

словно никакого начальства не существует. Не исполнять никаких приказаний, не выходить на работы, не слушаться никаких команд. В случае, если начальство прибегнет к насилию, объявить голодовку.

Двое суток ушло на то, чтобы снести со всей тюрьмой, оповестить заключенных во всех четырех корпусах Шлиссельбургской крепости о принятом решении и о форме протеста. Ведь не надо забывать, что заключенные не могли свободно передвигаться по всем тюремным корпусам: каждый был ограничен не только своим корпусом, но и своей камерой, откуда его выводили только на работы или на прогулку. Случалось, что ближайшие друзья, если они сидели в разных корпусах, не встречались годами. Тут, как говорил Борис Жадановский, «несколько шагов иногда дальше, чем 1500 верст»!

Для оповещения всей тюрьмы были использованы обычные «почтовые ящики», которыми пользовались заключенные: условленные места в бане и в прачечной, а также те заключенные, которые работали в мастерских, в саду и на огородах.

Со всей тюрьмы — из всех корпусов — пришел через два дня ответ: «Присоединимся».

В назначенный для общего протеста день — 8 июля 1912 года — во всех камерах заключенные с утра отказались встать на ежедневную поверку. На приветствие начальства не последовало обязательного ответа: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!»

На работы тоже никто не вышел.

Два часа спустя скрежет и лязг цепей в коридорах возвестил всем, что «зачинщиков» насильно поволокли в карцер. Их тащили за цепи, а изо всех общих камер корпуса остальные заключенные кричали им, что присоединяются к ним и поддержат их протест. И в самом деле, в тот же день три корпуса из четырех объявили голодовку.

Начальство тащило в карцеры все новых «зачинщиков». В карцерах, хотя они были одиночными, — да и для одного там было тесно! — сидели уже по двое. Потом оказалось: «зачинщиков» так много — свыше 150 человек! — что карцеров не хватает. Пришлось срочно приспособлять обыкновенные камеры, переводить их «на карцерное положение»: убирать постели, оставляя одни голые нары, и т. п.

Протест заключенных проходил на редкость единодушно и сплоченно. В карцерах сидели: Борис Жадановский, Владимир

Лихтенштадт, Иван Вороницын, Илья Ионов, Николай Билибин, Михаил Энгельгардт, матросы — Иван Письменчук, Захарий Циома, Антон Конуп и другие.

Начальство объявило: всем зачинщикам протеста — по 30 суток карцера. Хотя такое наказание применялось в Шлиссельбурге нередко, но от этого оно не становилось менее тяжким и страшным. Заключение сохраняли о нем на всю жизнь зловещее воспоминание. В карцерах круглой крепостной башни не было отопления. Холодные стены — мокрые и скользкие, как жабы. Кромешная тьма, отсутствие умывания и постели, пища — черный хлеб и холодная вода. (Горячую пищу и десятиминутную прогулку давали один раз в 10 суток.) После 30 суток карцерного сидения люди выходили неузнаваемыми: исхудавшие, невероятно грязные, со склеившимися липкими волосами и бородой, с глазами, воспаленными от долгого пребывания в полной темноте. Даже кандалы ржавели в карцерной сырости, даже голос у людей изменялся — становился ржавым, сиплым, придушенным.

На третьей неделе пребывания в карцере среди заключенных начались болезненные явления из-за переполнения и духоты: обмороки, кровотечения из носа. Часть арестованных унесли в тюремную больницу. Больно ударило всех то, что среди этих унесенных замертво был общий любимец — матрос Иван Письменчук. Словно предчувствовали они, что никогда больше его не увидят...

Письменчук был живое воплощение того «сердца народного», о котором писал Некрасов:

*В рабстве спасенное,
Сердце свободное,
Золото, золото —
Сердце народное!*

За золотое матросское сердце Письменчука любили все, и он был всем вернейшим другом и товарищем. Но всех больше любил он Бориса Жадановского, с которым долго сидел в одной камере. О Борисе, болезненном и слабом, Письменчук заботился как мать. Для того чтобы подкрепить Бориса, Письменчук кормил его «курятиной» — ставил за окном камеры силки для голубей, варил пойманных птиц

в чайнике, даже — вот она, матросская смекалка! — добывал «для вкуса» на кухне соли, перцу и лаврового листа. Кулинарные таланты Письменчука, как и его изобретательность, были неисчерпаемы. Он стряпал для Бориса и других товарищей «пирожки» из квашеной капусты, варил на лампе, в жестянке из-под консервов, особое «варенье» из свеклы.

Лишь много позднее узнали товарищи: перенесенный из карцера в больницу Иван Письменчук уже больше не вставал. Через несколько дней он скончался.

Оставшиеся в карцере не могли заблуждаться относительно своей участи. Они держались из последних сил, на последней бодрости, они были даже веселы. Но они знали, что их ожидает: самое худшее. Может быть, в «карцерном веселии» они даже бессознательно искали возможности зарядиться твердостью, силой для того, еще более тяжкого, что — они это знали — неизбежно предстояло им.

Что могло грозить заключенным? Все, вплоть до расстрела. Их протест был первым после нескольких лет затишья массовым выступлением в Шлиссельбургской каторжной тюрьме. Настоящим образом массовым, — в карцерах и камерах, переведенных на карцерное положение, было свыше 150 человек. В число этих 150-ти входили все те заключенные, которых начальство — Зимберг, Талалаев — ненавидело особо лютой ненавистью. Теперь эти ненавидимые начальством люди были целиком в лапах Зимберга и Талалаева, как в капкане. Захочет начальство — распишет и изобразит все происшествие как бунт. А бунт — это то проявление массового непокорства, которое оправдывает применение любой расправы — массовые избиения, порку, даже расстрел.

В один из вечеров на четвертой неделе в карцере был устроен грандиозный концерт. Жадановский и Лихтенштадт пели дуэт «Ночи безумные, ночи бессонные». Борис декламировал стихотворение Вейнберга «Море», без которого не обходилась в то время программа ни одного из молодежных вечеров и концертов. Успех карцерных концертов, Бориса и Владимира, был шумный!

Много позднее, в письме к сестре, Борис, рассказывая об этом концерте, вспоминает по аналогии другие концерты, слышанные им в студенческие годы, когда молодежь до сипоты и хрипоты вызывала знаменитого итальянского баритона Баттистини, колоратурное сопрано

Ван-Брандт, заставляя их без конца биссировать... «Только тут (в карцере), — шутливо писал Борис, — это длилось непрерывно да на хлебе и на воде, да в темноте...»

Борис и Владимир сидели в карцере вдвоем. Судьба, словно намеренно, подарила им эту радость перед близкой разлукой. В книге «История одного каторжанина», написанной с большой теплотой, сердечностью и вместе с тем с поражающей скромностью, автор, сам бывший шлиссельбуржец, И.П. Вороницын, пишет о дружбе Бориса и Владимира, ничем не омраченной за все годы совместного заточения в Шлиссельбурге. Незадолго до событий, приведших к «великому карцерному сидению», начальство крепости соединило в одной камере Жадановского и Лихтенштадта, — до этого они были разлучены в течение полутора лет (содержались в разных корпусах). Месяцы, проведенные ими теперь в одной камере, были, по словам Вороницына, счастливейшими для обоих — и Бориса и Владимира.

В карцере оба друга умудрялись устраиваться на ночь на единственном топчане. Это удавалось благодаря тому, что Борис был мал ростом, а длинный Владимир обладал редкой способностью складываться, как карманный нож.

— Вам удобно? — заботливо спросил Владимир в последний вечер.

— Прелестно! — заверил Борис. — Если бы еще что-нибудь под голову... Совсем бы как дома! Прелестно!.. А вы как?

— А мне еще лучше! — успокоил друга Владимир. — Я положу голову на ваши ноги. Только не дрыгайте ими!

— Постараюсь!

И оба крепко заснули.

Они были разбужены необычными для ночного времени звуками. Слышались шаги многих ног. Щелкали ключи в замках, хлопали отпираемые и запираемые двери. Кто-то ходил, волоча по полу кандалами, путаясь, в них...

Было ясно, — пришли взять кого-то.

— Кого уводят? — громко крикнул Владимир.

— Меня... — послышалось в ответ. — Билибина. И Буркова.

В самом деле, уводили сидевших в одном карцере Николая Билибина и Ивана Буркова.

Остальные замерли в сторожном ожидании. Ведь не из-за двоих только заключенных побеспокоилось начальство среди ночи! Сейчас вызовут и остальных. Куда поведут их, для чего, это все понимали: на расправу. На порку, — это было самым правдоподобным...

Если бы Жадановский был в эту минуту способен думать, он мог бы порадоваться. Его многолетняя борьба со всяким начальством, борьба за последнее достояние революционера — честь и достоинство, — не прошла даром для окружающих. В эти страшные минуты матрос-потемкинец Захарий Циома, не желая дожидаться позорного сечения розгами, приготовился покончить с собой. Чем? Ничего острого, колющего — ни ножика, ни осколка стекла, ничего, чем бы можно было вскрыть себе вены, в карцере не было. Повеситься тоже было не на чем. Но Циома нашел выход. Встав ногами на топчан, он приготовился, собрав все силы, грохнуться затылком и разбить себе голову о каменный пол карцера.

В такие минуты мысль работает с удесятеренной быстротой. У Циомы мелькнуло опасение: а вдруг руки непроизвольным инстинктивным движением зацепятся за что-либо при его падении и помешают ему разбиться насмерть? Он быстро засунул руки за пояс брюк, прикрепил наручники к пуговице... Теперь Циома был готов, — пусть приходят. Живым его не возьмут!

Да, Борис Жадановский мог быть доволен. Его мужественный пример был подхвачен.

Но Циома остался жив. В мертвой тишине, в которой слышалось только тяжелое дыхание людей да падение капель воды в карцерном ватерклозете, голос надзирателя вызвал:

— Жадановский, выходи!

Циома спрыгнул с топчана. Освободил руки. Если уведут Жадановского, значит, не на порку: к Борису в Шлиссельбурге телесных наказаний не применяют.

Вслед за Билибиным и Бурковым увели Жадановского и Панова. Дальше — с перерывами — всех остальных.

Вот тут, когда заключенных вели по большому прогулочному двору, они увидели свои клумбы. В цвету! Сразу после карцера, мрака, духоты их словно ослепило красотой и свежестью.

«Как ни жутко было идти черт знает куда и зачем, но, как сейчас, помню этот цветник, каким я увидел его тогда ночью! — писал потом в

своих воспоминаниях Николай Билибин. — Узор лобелий опоясал всю клумбу. Я шел в ожидании истязаний, но тогда вылетели у меня из ума все опасения... Великолепный цветник! Смотрю на Буркова — и он осклабился, повеселел...»

В малокровном сумраке северной ночи глаза Билибина успели охватить розовый бальзамин. Шедшие за ним Борис Жадановский и Илья Ионов с наслаждением вдохнули аромат распустившихся лилий.

Это была короткая, мимолетная радость. Ее глушило ожидание неминуемого позорного наказания. Когда Жадановский и Ионов вошли в контору и увидели там Билибина и Буркова, уже раздетых, их опасения показались окончательно подтвержденными.

Но Билибин, понимая их мысли и желая успокоить товарищей, успел крикнуть

— Этап!

Это означало: нас переодевают для отправки по этапу в другую тюрьму!

Переодетых каторжан сковали попарно — об руку — и отправили. Порка, да и не только порка, а целая цепь невыносимых мучений и истязаний еще предстояла им в другой тюрьме,

Однако сделать это в Шлиссельбурге не решились! В этом была громадная моральная победа заключенных. Другая, еще большая победа: протест их не пропал даром.

После отправки из Шлиссельбурга «зачинщиков» оставшиеся заключенные продолжали борьбу, и начальство было вынуждено пойти на уступки.

Высланные «зачинщики» об этом не узнали: это случилось, когда они были уже далеко.

Так выбыли из Шлиссельбургской каторжной тюрьмы 14 заключенных, непременных коноводов во всех протестах и возмущениях.

Сейчас же после них был отправлен из Шлиссельбурга и Владимир Лихтенштадт. Его услали в другом направлении, — видимо, желая разъединить с группой близких товарищей и заключить в другую тюрьму. Впрочем, об этом мы можем лишь гадать, так как в дороге Владимир тяжело заболел.

В Петербурге его сняли с поезда и сдали в тюрьму «Кресты» — в тюремную больницу. В «Крестах» Владимира продержали более семи

месяцев и только в феврале следующего (1913) года вернули обратно в Шлиссельбург.

В письме, отправленном родным — нелегально, с дороги, — Борис Жадановский писал:

...«Нас 14 человек. Публика боевая. Настроение повышенное, чувствуется победа. С какою радостью и вместе грустью слежу я с парходика за исчезающим «проклятым» Шлиссельбургом! Сколько чудных людей узнал я там, сколько там осталось!..»

Дальше приподнятое настроение шлиссельбуржцев стало падать. На все вопросы, задаваемые встречным новым людям, — каково в Орле, куда, они знали, их везут, — все отвечали им кратко и мрачно: — Беда!

...«Сомневаться было нельзя, — писал Жадановский, — нас гнали на рогатину»...

Их гнали в мрачно прославленный Орловский централ.

Знаменитым во всей России был начальник этой тюрьмы — жестокий садист, штабс-капитан Синайский.

8. Люди "нового Шлиссельбурга"

"Некогда! Некогда!" (В. Лихтенштадт)

Невольная растерянность, даже робость охватывает меня, когда я приближаюсь к этой теме...

Первая трудность здесь, вероятно, та, что, по странному, хотя и совершенно закономерному парадоксу, я почти совсем не знала тех людей, для которых проработала восемь лет! Мы, участники «Шлиссельбургской группы помощи», как и весь остальной мир, были наглухо разобщены с заключенными. Даже Марина Львовна до самой революции не знала никого из них лично. Ей было известно лишь то, что иногда бегло и кратко писал или говорил ей во время свиданий сын Владимир. Иногда к ней обращались родные иных заключенных. Но это случалось не часто.

До самой революции ни мы заключенных, ни они нас никогда не видали. Мы хоть знали о них, а они о нас даже и не догадывались. Это было правильно, — ведь в противном случае о нашем существовании могли бы догадаться и тюремщики, а это провалило бы работу.

Наличие какой-то заботы об улучшении каторжного быта заключенные ощущали почти единственно в периодических праздничных передачах. Было ясно: кто-то дружественный хотел скрасить их жизнь хотя бы присылкой к празднику чего-нибудь более вкусного и питательного. Кто мог это делать? Иные приписывали это Марине Львовне, матери их общего любимца Владимира. Об этом говорят в своих воспоминаниях И. Ионов, И. Вороницын, Н. Билибин, В. Симонович.

Но, конечно, это касалось лишь праздничных лакомств да еще очков, лекарств, цветочных и огородных семян, книг. А ведь это было очень незначительной частью нашей работы! О полном же объеме деятельности Марины Львовны, о том, что с нею работала группа из 10 человек, о том, какое отношение имела эта группа к массовым передачам продуктов, поступавших сотнями пудов непосредственно в кладовые крепости, о массовой выписке рыбьего и других жиров — обо всем этом никто из заключенных во все время пребывания в Шлиссельбурге не имел ни малейшего понятия.

О «Группе помощи», возглавляемой его матерью, конечно, догадывался, даже знал Владимир. В письме от 31 декабря 1909 года он пишет матери:

«Угощение (очевидно, новогоднее. — А.Б.) превзошло все ожидания, как в отношении количества продуктов, так и их качества и подбора. Мне поручено передать тебе миллион благодарностей, а также всем твоим помощникам. Еще раз — всем привет. Володя».

Это явно относилось к присылке праздничных гостинцев.

А в другом письме — от 12 января 1914 года — Владимир пишет уже о том, о чем никто из остальных заключенных даже не подозревал:

«Если у тебя есть благодетели в менее деликатных кругах, то, по словам доктора, лучше бы заменить какао — вещами не столь нежными и чистыми, а именно: бочонком селедок и маслом (конопляным и подсолнечным)».

Уже перед самым освобождением — за неделю до революции, 19 февраля 1917 года, — письмо Владимира заканчивается следующими словами:

«Разбирал сегодня богатейшую передачу. Ну и балуете вы нас! Прямо совестно...»

Почти ни с кем из наших «подопечных» — заключенных-шлиссельбуржцев — нам не пришлось познакомиться даже и после революции. Прежний, дореволюционный состав нашей «Группы помощи» распался сразу. Некоторые ее участники влились в создавшуюся после революции «Краснокрестную организацию помощи революционерам», освобожденным из тюрем и мест ссылки». Возглавила ее Вера Николаевна Фигнер. Я в этом уже не принимала участия. После революции работа в политическом Красном Кресте стала легальной, — ею занялись многие. А между тем открылись такие перспективы работы, общественной и просветительной, каких прежде не существовало. Многие — в том числе и я — оказались вовлеченными в необыкновенно широко разлившийся тогда поток культурного строительства (ликбез, создание новых театров, новой детской литературы).

Другой — не меньшей, а, вероятно, еще большей — трудностью при написании очерка о «людях Шлиссельбурга» является трудность выбора. В такой тюрьме, как Шлиссельбург, не было, вероятно, среди политических заключенных людей маленьких, мелких. Сюда нельзя

было попасть случайно, — в эту историческую цитадель люди попадали лишь в результате героической революционной деятельности.

Кого бы мы ни взяли из революционеров, прошедших через Шлиссельбург, это будет волнующий рассказ о доблести, мужестве и непобедимой силе духа. Материалов об этом не очень много, — их становится все меньше, мы даем им исчезнуть вместе с теми, увы, уже не столь многими героями-шлиссельбуржцами, оставшимися в живых... Все же эти материалы есть. Приходится лишь пожалеть о том, что они так мало используются писателями, в частности теми, чьи голоса обращены к молодежи. Мало, недопустимо мало знает наша молодежь о Павлине Виноградове, Иустине Жуке, Романе Семенчикове, о докторе Ф.Н. Петрове, о Жадановском, Лихтенштадте и многих, многих других!

Здесь я напишу о двух шлиссельбургских узниках: Владимире Лихтенштадте и Борисе Жадановском, о которых я много слыхала и много читала. С Лихтенштадтом я к тому же была лично знакома, хотя встречалась с ним не часто. Но с матерью его, Мариной Львовной, я была связана восьмью годами совместной работы, очень тесно сближавшей людей, — я слышала от нее очень многое о сыне. Кроме того, мне посчастливилось подробно ознакомиться с ценнейшим литературным наследством Владимира — его дневниками и письмами, хранящимися в Музее Революции.

Начало вечного заключения далось Владимиру не легко. Сила духа была у него недюжинная, не часто встречающаяся, но все же был и у него момент, когда опустились руки, жизнь показалась конченной — совсем, навсегда...

После восторженной ярости 1905 года — «Пусть сильнее грянет буря!», — после томительного ожидания суда и трудно переносимого ожидания казни внезапно наступил мертвый штиль. Паруса поникли, как тряпки, корабль остановился... Двигалось только время, но и его движение совершалось словно на холостом ходу. Дни, месяцы, годы мерно и скупо сочились, как песчинки в песочных часах. Время двигалось, но ничто вокруг от этого не изменялось.

В тот период вырвались у Владимира горькие слова: «Для того чтобы постичь жизнь, надо ее пережить, то есть перехотеть». Тогда

ему показалось, что он в самом деле «перехотел» жить, то есть разлюбил жизнь....

«Часы бегут один за другим и заматают все чувства, даже беспокойство за других, — писал он жене. — Все так размеренно здесь, что и на внешний мир начинаешь смотреть, как на нечто медленно-тягучее... неотвратимое...

Глухие шаги, звонки, бой часов и тысяча мелочей — все это так спокойно, так равнодушно, что сам втягиваешься в эту «жизнь» и на все смотришь ее глазами...

Прощай, Марочка, милая, будь бодрее, все ведь кончится когда-нибудь, все вы будете на свободе, — ну, а больше ничего не надо. Твой Володя».

Другое письмо к жене, написанное в апреле 1908 года, в день, когда Владимира, перед окончательным отправлением в Шлиссельбургскую крепость, перевели в Петербургскую пересыльную тюрьму:

...«12 апреля 1908 года. Ночь.

Море звуков, как в крепости, — только пушек нет.

Зато, с другой стороны, море других звуков, — от цепей: идут в церковь... Ну, что же писать?

Пасхальное письмо из крепости, где я вспоминал прежнюю пасху, не дошло.

Теперь уж не хочется вспоминать.

Колокола смолкают... Только одна нота остается без конца... И в коридоре тихо.

Прощай».

Это написано перед самым переводом из Петропавловской в Шлиссельбургскую крепость — навечно. В душе, в сознании — нуль градусов тепла. Дальше должна начаться зона вечной мерзлоты, где нет роста, нет жизни.

Но вчитаемся в последующие письма, дневниковые записи! В них начинается сперва очень медленное, но явственно осязаемое повышение жизненного тонуса. Со срывами, с провалами все снова в тоску и безразличие, но этот процесс идет, он неуклонно усиливается, нарастает!

...«Да, да (запись в дневнике от 17 октября 1910 года), все дано в настоящем. Если ты в нем — банкрот, то нечего утешать себя будущим: ты всегда останешься таким же банкротом.

Правда, можно создать известную обстановку, среди которой удобнее и приятнее «доживать» свои дни, — как создают себе или сохраняют Обломов и доктор из «Палаты № 6» (до катастрофы!)... Незавидная перспектива! И ведь уверен, что, кроме ее или еще насильственного конца, ничего не осталось, так уверен, что, кажется, нет ни одной лазейки... Так нет же! Откуда ни возьмись, опять та же надежда на чудо! Пусть крохотная, микроскопическая, пусть бесконечно малая надежда, но она есть, она не хочет умирать, несмотря ни на что!»

Не один раз в письмах и дневниках Владимир, словно сам удивляясь, отмечает в себе неожиданное возрождение жизнерадостности:

...«Опять прилив сил!..»

...«Кажется, снова наступает пора, когда все радуется!..»

Как могло это случиться в тех условиях — с человеком культурным, заживо погребенным в каторжной тюрьме?

Вспомним, что говорил А.С. Макаренко. Педагог по призванию, — а это означает прежде всего отличное понимание человеческой души не в неподвижности, не в застывшей данности, а в постоянном движении, противоречиях, в непрерывном росте и развитии, — Антон Семенович Макаренко обогатил нас замечательной теорией «перспективных линий». Перспективные линии — это нарастающие мечты; в стремлении осуществить их человеческая душа словно поднимается все выше и выше — по восходящим ступеням.

Мечты эти могут быть самые разнообразные. Для беспризорников, воспитанников А.С. Макаренко, такая перспективная линия могла подниматься от надежда на сытный обед, через приблизительно целые, не рваные штаны, к созданию сада, огородов, полей колонии имени Горького. Для летчика перспективная линия, мечта — овладение космосом, для ученого — решение какой-нибудь загадки, важнейшей для человечества, например проблемы рака. Словом, перспективные линии — это мечты, помогающие человеку смотреть вперед и идти вперед, действительно тянуться ко все более и более высоким перспективам.

Трудно говорить о перспективных линиях, о мечтах, рождающихся в пожизненном заключении: там, казалось бы, могли только умирать и гаснуть все и всяческие мечты и перспективы. Но, очевидно, это ошибка, и мечта живет всегда, перспектива есть везде. Перспектива может намечаться еле заметным пунктиром, но она есть, непременно есть во всякой жизненной ситуации. Мечта может превратиться в хилую тень, едва уловимую, как плесень. Она может быть убогой, как мечта Акакия Акакиевича о новой шинели, или чеховского героя о крыжовнике с собственных кустов. Но мечта не умирает, она пребывает и даже заново рождается в любых условиях. А в большой, богатой, щедрой душе мечта постепенно разрастается, крепнет, становится источником радости и для других людей тоже. И во всех условиях всякая мечта непременно помогает человеку жить.

Так случилось и с Владимиром. Возможно, это началось у него с книг. Когда вокруг него все рухнуло и исчезло, словно слизанное жадным языком морского отлива, книги — единственные! — остались с ним. Он хорошо знал, за что его арестовали, в чем будут обвинять, за что осудят и к чему приговорят. Читать он начал в первые же дни после ареста, чтение привело к творческой работе. Так появились переводы книг Отто Вейнингера, потом Штирнера, потом Р.С. Чемберлена и, наконец, появился капитальный труд: оригинальная книга Владимира Лихтенштадта о Гёте: «Гёте — борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания». Книга эта — свыше 40 печатных листов — написана целиком в Шлиссельбурге. Издана в 1920 году, уже после Октябрьской революции и после смерти автора.

Одновременно с творческой работой во Владимире рос и креп интерес к самой библиотеке, как таковой, к книге, как средству для поддержания духа и бодрости в товарищах. Стали составляться и пересылаться на волю, к Марине Львовне, списки книг, желательных для пополнения библиотеки Шлиссельбургской каторжной тюрьмы. Создание обширного сектора нелегальной литературы потребовало многих усилий, труда, изобретательности, так же как впоследствии составление карточного каталога.

Силой, укреплявшей во Владимире жизнь и любовь к жизни, были люди, товарищи, общение с ними. Люди в Шлиссельбурге были самые разнообразные, вплоть до зловещих «иванов», то есть

профессиональных разбойников и убийц, и отталкивающей стихии «шпаны». Сам Владимир писал:

«Интересно, как меняется отношение к людям по мере того, как подходишь к ним ближе. Сейчас для меня население 2-го корпуса — серая, забитая масса «шапкоснимателей, и иногда немного неприятно думать, что будешь жить с этими людьми дни и ночи, никогда не оставаясь один. Но я знаю, что стоит лишь поближе рассмотреть каждого отдельно члена этой массы — и это впечатление исчезнет. И уверен, что кроме одиночных, явно отталкивающих лиц (может, таких и не будет) жить с ними будет не худо... Посмотрим, посмотрим!» (дневник — 17 октября 1910 года).

Кстати, это выражение — «Посмотрим, посмотрим!» — встречается у Владимира в его дневниковых записях и письмах нередко. Это само по себе говорит о его душевном состоянии. «Посмотрим, посмотрим!» устремлено в будущее, в нем — интерес, надежда — и, значит, жизнь.

В своих мыслях о людях 2-го корпуса Владимир оказался прав. Многие было трудно в новом каторжном окружении, многое было непривычно, почти отталкивающее.

«А все-таки, — писал Владимир в дневнике 20 декабря 1910 года, — Среда иногда больно бьет своей грубостью. Кое-что из «Мертвого Дома» я только теперь начинаю как следует понимать... Интересно еще вот что: наша «утонченность», уже изобличенная в лживости и слабости, снова приобретает здесь, как контраст, ценность, снова привлекает и вспоминается, как чудная музыка».

Да, среда была для него непривычна и подчас заставляла вспоминать, как чудную музыку, ту «утонченность», которую он сам осудил еще задолго до того. А то, что Владимир, по общему единодушному признанию, стал вскоре любимцем и вожакom всей «каторги», говорит, что он тоже полюбил этих людей, полюбил без брезгливости и чистоплюйства, почувствовав кровное братство с ними.

Все товарищи по заключению, вспоминая о Владимире, пишут о той большой роли, какую он сыграл в укреплении и укоренении тюремного обычая так называемой «коммуны», то есть коммунистического распределения продуктов, табаку и пр. среди всех обитателей тюремных камер.

«В камерах, где сидел или даже только появлялся Лихтенштадт, — пишет Н. Билибин в «Истории одного протеста» («Каторга и ссылка», 1925, кн. 18), — обычай «коммуны» распространялся на всех. Мало того: одной из задач, решением которых постоянно занимался Владимир, было — распространить этот коммунистический обычай на всю тюрьму».

Так все вместе — люди и постоянная забота о них, борьба за «коммуну», труды по расширению и сохранению библиотеки, а также непрерывная личная творческая работа — создало для Владимира нечто вроде спасательного пробкового пояса из перспективных линий. Этот пояс помогал ему держаться на поверхности.

Но бывали у Владимира за годы заключения тяжелые срывы, и тогда казалось, вот-вот затянет его в омут безнадежности и апатии и ему уже не выплыть!

В первый раз это случилось в 1913 году, когда, возвращенный обратно в Шлиссельбург из петербургских «Крестов», Владимир уже не застал большинства самых близких своих друзей. Они были отправлены в Орловский централ. Немного времени спустя выбыл из Шлиссельбурга и Ф.Н. Петров: по окончании семилетнего срока заключения его отправили в далекую сибирскую ссылку, в село Манзурку, Верховенского уезда, Иркутской губернии. Это было для Владимира новой утратой, тяжелой, незаменимой. Круг близких друзей — а на каторге друг означает неизмеримо больше, чем на воле! — все редел и суживался.

Последним звеном в этой цепи расставаний было отправление из Шлиссельбурга в ссылку Г.К. Орджоникидзе. С его отъездом вокруг Владимира не стало больше никого, с кем можно было говорить о самом дорогом и интересном. Теперь не было уже ни Жадановского, ни Петрова, ни Вороницына, ни Ионова, ни обоих Трилиссеров, ни Орджоникидзе.

«Сегодня уехал Орджоникидзе, — писал Владимир в дневнике 3 октября 1915 года. — Какой живой, открытый характер, сколько энергии, отзывчивости на все! И главное — человек все время работает над собой! Только с ним и можно было потолковать серьезно по теоретическим вопросам, побеседовать о прочитанной книге... Это был здесь единственный, у которого можно было поучиться».

О том, что Г.К. Орджоникидзе был человеком неисчерпаемого внутреннего богатства, говорит уже то, что самый его образ еще не до конца раскрыт в появившихся многих воспоминаниях близких к нему людей. Всякий непременно добавляет хоть небольшой, но свой, свежий, новый штрих!

Бывший шлиссельбуржец В. Симонович говорит в своих воспоминаниях о том, что власти, заточая в Шлиссельбург Орджоникидзе, так же как и других кавказцев, имели свой жестокий расчет: эти люди — южане, они не вынесут климата. И в самом деле, по свидетельству того же В. Симоновича, в Шлиссельбургской крепости погибло до 90 процентов всех заключенных-кавказцев. Но ни болезни, ни губительные морозы, ни угроза смерти не могли ослабить Орджоникидзе физически или морально! Общение с Г.К. Орджоникидзе было живительным для других заключенных: в «каменном гробу» Шлиссельбургской крепости он был крепко связан с работой революционеров на воле, с думской фракцией большевиков. От него товарищи по заключению узнавали важнейшие новости: о Пражской конференции, о новых работах В.И. Ленина, о нарастании революционных настроений в России. Обаяние Орджоникидзе шло не только от его начитанности, широкой осведомленности, но в сильнейшей степени и от его характера, неизменно-радостного и сердечного.

Орджоникидзе был талантлив во всем: в общении с людьми так же, как во всех своих действиях и мыслях. Вдова Г.К. Орджоникидзе, друг всей его жизни, З.Г. Орджоникидзе, в своей книжке «Путь большевика» приводит одно из его стихотворений. Оно обращено к заключенному в соседней камере, с которым Григорий Константинович перестукивался по условной тюремной азбуке. Стихотворение это, хотя и не притязательное, несомненно, говорит отдельными своими строками, отдельными свежими словами о наличии у «Серго» поэтических способностей.

*Друг, мужайся! День настанет, —
В алом блеске солнце встанет,
Синей бурей море грянет,
Волны песню загудят!
Будет весел многоводный*

*Пир широкий, пир свободный!
Он сметет волной народной
Наш гранитный каземат!
Мы расскажем миру тайны
Долгих лет и долгих мук.
И в садах родной Украины
Вспомнишь ты, сосед случайный,
Наш условный, тихий стук, —
Стук приветный, стук ответный,
Голос азбуки заветной,
Голос камня: «Тук... тук... тук!»
Голос друга: «Здравствуй, друг!»*

Отъезд Г.К. Орджоникидзе был для Владимира большой и чувствительной потерей.

Угнетенное состояние, возникшее у него после того, как из Шлиссельбурга выбыли его друзья — ближайшие, лучшие! — усиливалось еще плохим физическим самочувствием. Начиная с 1916 года здоровье Владимира стало резко ухудшаться. Это был уже десятый год непрерывного пребывания в тюрьмах, лишениях, протестов, карцеров, голодовок, всего того, чем тюремная жизнь особенно щедра для строптивых и непокорных, не отделяющих себя от товарищей и их борьбы.

Владимир держался долго, стойко, но с этого времени стал, видимо, сдавать и он. Все чаще в его дневниках попадаются такие признания:

...«Здоровье, увы, весьма приблизительно, только держусь».

...«Здоровье плохо, надо лечиться».

...«Сегодня впервые пишу об этом маме, — все равно она видит и еще больше беспокоится».

Это был для Владимира едва ли не самый тяжелый период за все одиннадцать лет тюрьмы и каторги.

И все-таки — все-таки! — он перемог и это. Мрачные записи в его дневниках начинают понемногу перемежаться более светлыми, последние все усиливаются и если не вовсе вытесняют тревожные мотивы, то сильно заглушают их.

Вчитываясь в письма Лихтенштадта и его дневники, мы начинаем понимать, почему так случилось.

Всего сильнее помогал Владимиру, поддерживал в нем стойкую «перспективность» его пристальный, можно сказать, жадный интерес к молодежи, к людям нового революционного поколения. Ведь в 1916–1917 годах, перед революцией, самому Владимиру было уже 37–38 лет. За долгие годы, проведенные им в заключении поднялось на воле «племя младое, незнакомое», и Владимир всматривался в него с напряженной зоркостью.

...«В последнее время, — писал он матери 19 февраля 1917 года (то есть буквально за несколько дней до революции!), — я в великолепном настроении и «всем доволен»: и погодой, и работой, и библиотекой, и сокамерником, в особенности последним! Вот она, молодая Россия, полная сил и веры! Не хватает знаний, не хватает культуры, это так, — но все это можно приобрести, дай только время! Не подумай, что в нем есть что-то особенное. Обыкновенный молодой рабочий, сохранивший резко выраженный ярославский говор, пошехонец, простой в жизни, радостный, — вот и все. Но очень хорошо мы с ним спелись, — а это здесь далеко не последняя вещь».

Общение с этим молодым сокамерником, — это был Михаил Кононов, Владимир в письмах называл его просто Мишей, — приносило Владимиру настоящую радость. Он делился с ним знаниями, — а у него было чем поделиться! — и, всматриваясь, старался уловить в нем что-то очень важное и человечески-желанное.

Незадолго перед Февральской революцией Владимир и его друзья разрабатывали в Шлиссельбургской крепости план нового замечательного дела. Спокон веку так повелось: там, где по своей или чужой воле собраны люди, там непременно, сознательно или бессознательно, возникает процесс взаимной учебы. Если это люди высокой моральной ценности, то в эту взаимную учебу они вкладывают настоящие человеческие чувства: одни учатся с жадностью, с увлечением, другие преподают — так же. Это было и в «новом Шлиссельбурге». Даже в труднейшие времена там не прекращалась разнообразная учеба — в форме регулярных или эпизодических занятий, кружков, докладов — всего того, что заключенные — не только в Шлиссельбурге, но и в других тюрьмах — называли «Романовским университетом».

Не следует представлять себе это идиллически. Это было очень нелегко и для учившихся и для учивших. Заключенные-«студенты», так же как и заключенные-«профессора», были закованы в кандалы. Те и другие были оголодавшие, физически изнуренные люди. Занятия происходили в переполненных душных камерах, с непременно первоприсутствующей зловонной «парашей». Тюремщики, конечно, нисколько не считались с этими занятиями, — наоборот, всячески мешали им. А мешать было легко: перебросили кого-либо из «учителей» в другой корпус или хотя бы даже только в другую камеру, — вот уже удар по занятиям, и надо все налаживать заново.

Но остановить или задержать этот поток не могла и администрация. Учеба шла, несмотря ни на что. Она давала свои результаты, они вполне окупали и труд, и усилия учивших и учившихся.

Один из вышедших на волю узников Шлиссельбурга, рабочий Сестрорецкого завода Н.С. Мокров, потом вспоминал:

«За эти долгие годы много товарищей, пришедших в тюрьму полуграмотными, вышли из нее образованными людьми и теоретически подкованными революционерами».

И вот незадолго перед революцией Владимир и его товарищи задумали вместо многих разрозненных кружков создать нечто вроде единой систематической школы. Нуждающихся в такой школе среди 600 с лишним заключенных было достаточно. И хотя не было уже в Шлиссельбурге ни Ф.Н. Петрова, ни Серго Орджоникидзе, ни Бориса Жадановского — никого из тех, кто с особенной любовью занимался просвещением заключенных, — все же и теперь подобралось большое число товарищей, которые могли и хотели создать предполагаемую новую школу. Школа эта была новым звеном в цепи «перспективных линий», помогавших заключенным жить.

Вот когда в дневниках Владимира особенно учащаются жизнеутверждающие записи:

...«Силы рвутся наружу!»

...«Роятся мысли, хочется дела!»

...«Такой прилив сил, такая жажда жизни, какой уже давно не было!»

Невольно приходит на мысль: вот он, секрет незамерзающих вод! Их страстную, кипучую жизнедеятельность не может сковать даже

самый лютый мороз!

Марина Львовна и мы, ее подручные, уже намечали наше участие в этом новом деле: шел третий год мировой войны, и многие необходимые вещи — учебные пособия, книги, бумага, тетради, карандаши — хотя не стали еще в Петрограде дефицитными, все же доставать их в таком большом количестве было уже не очень легко.

Школа эта не была создана, — пришла революция!

Владимир и после революции оставался живым сердцем массы заключенных. Уже вихрем пролетели первые дни, когда громадная революционная толпа, исполняя постановление первого же заседания Петроградского Совета, появилась под стенами Шлиссельбурга и раскрыла настежь вековые ворота «государевой». Уже расковали кандалы на всех каторжанах. Уже сорвали, изломали, растоптали изображение двуглавого орла над входом в «государеву». Уже вывезли из крепости и материальные ценности, а самую крепость, по постановлению Шлиссельбургского ревкома, облив нефтью и мазутом, подожгли! Она простояла два столетия, она не хотела исчезнуть, она противилась гибели, — горела целую неделю!

А Владимира, одним из первых получившего удостоверение: «Освобожден волею восставшего народа!», все еще не было! Марина Львовна ждала сына и никак не могла дожждаться... Мы прибегали по нескольку раз в день справляться, — Владимира все не было.

Наконец один из освобожденных принес Марине Львовне записку, нацарапанную наспех на бланке Шлиссельбургского порохового завода:

«Здравствуй, мама! И здравствуйте все, друзья!

Только пара слов — голова идет кругом — полетел бы к вам, но дела так много, что надо сидеть здесь, помочь вышедшим, помочь еще сидящим.

Володя».

Дела в самом деле было невпроворот. Не так это просто — выпустить на волю внезапно, негаданно многие сотни людей, не имеющих никакой другой одежды, кроме арестантской, не знающих, куда податься, куда идти. Надо было одеть их, снабдить деньгами и

железнодорожными билетами для проезда на родину. Надо было помочь выйти на волю многим людям, лишь формально относимым к уголовным, хотя в основе их заключения лежали причины чисто политические, и т. п.

Наступил наконец желанный день! Как и во все предыдущие дни, мы примчались к Марине Львовне. Она сама отперла нам дверь. Мы ни о чем не спросили, даже не посмотрели на нее вопросительно, — она сияла! Мы поняли: Владимир дома. Ни слова не сказав, даже не простившись, мы повернулись и стремглав побежали вниз по лестнице под удивленные — но веселые, радостные! — возгласы Марины Львовны:

— Куда же вы? Куда? Ах, сумасшедшие...

Может быть, мы бессознательно предчувствовали: радость от встречи матери с сыном будет краткой, слишком краткой! Не успеет Марина Львовна ни насмотреться на возвратившегося сына, ни наговориться с ним досыта за все годы разлуки...

Едва ли не с первых дней после, освобождения — почти не отдохнув («некогда, некогда!»), едва успев осмотреться («некогда, некогда!»), Владимир бросается в работу, именно бросается, как летом, в зной, бросаются люди в холодную реку! В это время он работал в «Ульянке» — детской колонии под Петроградом. Это была единственная поблажка, единственный роздых, который он разрешил себе: работа среди детей. В жизни мне не раз случалось видеть, как после особенно тяжелых испытаний и передрыг люди тянутся к пребыванию среди детей, к радости общения с детьми.

Но это был лишь краткий эпизод. Освежающий, радующий, но — «некогда, некогда!» И вскоре мы видим Владимира секретарем редакции «Коммунистического Интернационала». Это была гигантская работа, но он богатырски легко взвалил этот груз себе на плечи и с радостью понес его.

...«Я еще не устроился, да и некогда, — пишет он в дневнике 17 апреля 1918 года. — Надо писать, переводить, редактировать... Меня сведет с ума первый номер «Интернационала»! Опять работа не по силам, но эта работа целиком захватывает и увлекает, — будем работать свыше сил...

...Два часа ночи, довольно. Хорошо работается, хорошо мечтается, хорошо ходится, — «по камере» хочется мне сказать, так

переносишься в былое задумчивое хождение по камере... А как хорош Исаакий! Как хороша вся площадь, утопающая в полном мраке! И славно гудит ветер в трубе, — словно знает, как я любил и люблю его заунывные напевы!.. Выстрел, другой... да, мы живем в военном лагере. Много «ненужной» жестокости вокруг (хотя ненужность эта весьма относительна), но и война эта веселее, здоровее и нравственнее, — да, нравственнее! — чем жалкое прозябание в мещанском болоте, чем вольное и невольное утверждение всех ужасов и подлостей старого мира. Да, да, об этом я еще напишу, — все это так и рвется наружу, — даже не верится... Нет, мы еще поборемся и за мировое, и за личное строительство».

...«Не сплю несколько ночей, — в последнюю ночь не выходил из типографии, — 42 часа непрерывной работы, но чувствую себя превосходно».

Но даже такая работа, напряженная, самоотверженная, удовлетворяла Владимира не вполне, не до конца. Он привык делать всегда и везде самое опасное, самое трудное, привык брать на себя самое ответственное. И теперь, в 1919 году, не мог такой человек не рваться туда, где решались судьбы революции: на фронт!

24 мая 1919 года он записывает в дневнике:

«Красному Питеру грозит опасность. Я рвался в армию полгода назад, когда враг был далек, я подал заявление в таком духе в партию. И вот сейчас, в минуту действительной, близкой опасности, я сижу в спокойной обстановке... Под Гатчиной идет жестокий бой, а тут корректуры, переводы, всякие там корпусы и боргесы, какая чушь, какая чушь!.. Правда, сейчас я уже не просто «солдат большевизма». Я — большевик душой и телом, большевик до могилы. И хочу и могу поэтому не только умереть за большевизм, но и жить для него, жить и бороться, падать и подниматься.

Но — все-таки!..

Правда, я сознаю, что мало пользы принесу, взяв в руки винтовку, — но все-таки, все-таки!

И неужели возьмут эти банды наш — мой! — Питер?

Хочется хоть раз в жизни подняться на Исаакий и взглянуть оттуда на этот «самый фантастический из городов»...

Хочется, — многое хочется, — но некогда (опять «некогда!») даже записывать, некогда даже думать и мечтать. В последнюю минуту, буду

надеяться, и мне попадет в руки винтовка... И не хочу верить, что сдадим Питер».

Его надежда сбылась, — он получил винтовку! Тревога гнала его («некогда, некогда!»), и, не прекращая своей основной работы в «Коммунистическом Интернационале», он стал учиться военному строю.

Запись от 17 июня 1919 года:

«Ну вот, я солдат. Во всем казенном, с оружием и всем, что полагается... 15-го я записался в 3-й Коммунистический взвод и сразу попал на суточное дежурство... Винтовка, пулемет — это самое несомненное сейчас, несомненное слов, — и чище, и свободнее: слова поработают, — тут остаешься внутренне свободным. Да, должно быть, мне уже суждено остаться «солдатом революции»...

Правда, теперь это по-иному, теперь я весь — в революции и для нее».

Правильно ли было это решение Владимира, оказавшееся последним в его жизни? Нужен ли был в такой момент Красной Армии этот человек — мечтатель, мыслитель, философ, поэт?

На этот вопрос отвечает в своей статье «Владимир Осипович Лихтенштадт» его друг и соратник, товарищ по Шлиссельбургской каторжной тюрьме, поэт Илья Ионов:

«Как и на каторге, он сразу завоевал любовь и симпатии красноармейцев. Я не видел человека, который так легко, так душевно мог бы подойти к товарищу, как это делал Владимир.

Весь для дела, для борьбы, он внешне ничего не оставлял для себя... Правда, он носил в себе большой внутренний мир благородных и высоких переживаний, и в разговоре с ним чувствовалось, какое большое и нежное сердце бьется в его груди. Все в нем почувствовали своего, близкого товарища и спаялись с ним самыми нежными узами настоящей дружбы. Он марширует рядом с красноармейцами, ходит с ними на учения — и записывает в дневник:

...«Интернационал», обучение, мечта о фронте, — тысяча мелочей, — и среди них хочу урвать время и написать за один присест статью о Герцене, — к 23-й годовщине июньских дней».

Пройден курс военного обучения, за плечами — солдатский ранец, в руках — винтовка. Владимир заносит в дневник последнюю запись:

«Прощай, тетрадь, — еще полгода... Надо рвать цепи и строить новую жизнь».

Но с тетрадью — как и с жизнью своей — Владимир расстался не на полгода, как он полагал, а навсегда. 15 октября 1919 года он погиб на Ямбургском фронте. Белые, схватив, замучили его, изуродовали так зверски, что опознать его останки оказалось невозможным. Сделать это удалось лишь с помощью лечившей Владимира зубного врача Е.М. Выгодской: она опознала его труп по пломбам в зубах.

Похоронен Владимир на Марсовом Поле в Ленинграде.

Марина Львовна пережила сына почти на 18 лет. Она умерла в 1937 году.

«За жизнь, за борьбу, за любовь, — писал о Владимире его друг и товарищ по Шлиссельбургу, поэт Илья Ионов, — он пал на Ямбургском фронте преданным и самоотверженным коммунистом.

Лучшую часть жизни он провел — вне жизни, и потому не многие знали его близко. Но те, кто соприкасался с ним, кто не забыл до сих пор его мягкого, чарующего взгляда, — те когда-нибудь сойдутся у его могилы на Марсовом Поле, чтобы в воспоминаниях о нем найти крепость душевную и силы для борьбы за идеалы героев Ямбургского фронта». (И. Ионов. Венок на могилу В.О. Лихтенштадта).

9. Люди "нового Шлиссельбурга"

«Борись, Петрович!» (Б. Жадановский)

В том, что Владимир стал революционером еще в юности, не было, в сущности, ничего удивительного. Он рос среди революционно-демократической интеллигенции, с детства видел вокруг себя революционеров, слышал революционные разговоры, вбирая в себя воздух революции. Она была в атмосфере, Владимир дышал ею с ранних лет.

Но если Владимир был сыном своей среды, то Борис Жадановский в своем стане был белой вороной. Он вырос в дворянской военной семье, — в то время это была наиболее консервативная и отсталая среда в России. Отец Бориса, полковник Жадановский, в своей семье был хранителем сословных и религиозных основ. Пиетет царя и военной службы, как служения царю, почитался полковником Жадановским высоко. Далекими от революции были все знакомства, все дружеские и родственные связи семьи Жадановских. Правда, мать Бориса, Ольга Николаевна Жадановская, не разделяла ультраправых убеждений, читала прогрессивные «толстые журналы» и произведения передовой русской литературы. Черносотенных газет Жадановские не выписывали и не читали. Да и отец, хотя и правый, не был, видимо, крайним в своих охранительных воззрениях, да и характер имел мягкий. Если бы это было не так, не стал бы Борис писать родителям так откровенно о своих революционных убеждениях.

12 сентября 1906 года, уже после окончания процесса, после вынесенного судом приговора: «Расстрел!» — и замены казни вечной каторгой, Борис Жадановский переслал родителям с оказией письмо. Оно могло оказаться последним «свободным» его посланием. «Может, говорим мы свободно в последний раз», — писал Борис.

Привожу выдержки из этого письма.

«Быть может, вы и не разделяете моих взглядов, но вы должны понять, что иначе я действовать не мог... Я действовал так, как подсказывали мне мои убеждения, и поступить иначе было бы нечестно... Духом я не падал и не паду, конечно. Верьте, что и в

последнюю минуту я был бы так же спокоен, как в эти 5 дней, когда ожидал казни. И не потому, что мне жить не хочется. Это смешно. Господи, как еще, как жить хочется!»

Это никак не письмо к суровым родителям, закоснело и непреклонно отвергающим сыновнюю правду. Сын знает, что его убеждения — не убеждения его родителей. Но он знает и то, что родители хотят от него прежде всего честности, и успокаивает их: «Действовать иначе я не мог, это было бы нечестно». Борис знает больше: родителям не безразлично, как вел себя сын на суде и в ожидании казни. Он спешит их заверить: он вел себя спокойно и достойно. Последняя фраза письма: «И не потому, что мне жить не хочется, — господи, как еще, как жить хочется!» Такое сокровенное признание можно сделать лишь перед ближайшими людьми, любимыми и уважаемыми превыше всех. Оно звучит как детская жалоба и обращено — к кому же? Ну конечно, к самым дорогим...

По чуткости своей, чистоте и пылкости своей души Борис не мог не загореться еще в юности революционными настроениями начала XX века. Характерно, что начальство кадетского корпуса уже очень рано стало воспринимать Бориса именно как белую ворону с бунтовщическими задатками. Воспитатели подмечали и заносили в журнал мальчишеские выходки Бориса:

«Когда воспитатель делал замечание одному из кадет за неправильное держание ножа, Жадановский громко фыркнул».

Или:

«На молитве Жадановский переминался с ноги на ногу».

Все это казалось корпусному начальству не просто проявлением мальчишеской или юношеской проказливости, а грозным предзнаменованием. Давая Борису характеристику, воспитатель перечислял причины своего недовольства юношей:

- 1) в Борисе Жадановском нет того, что должно отличать кадета от какого-нибудь гимназиста или студента;
- 2) он слишком серьезен и скрытен;
- 3) в нем нет «духа», нет «военной косточки»;
- 4) он — какой-то монах!

Сейчас эти обвинения (подробно перечисляемые в книге Вороницына «История одного каторжанина») читать уже только забавно. Но в то время воспитатели были по-своему правы, может

быть, даже они проявили зоркую проницательность. В Борисе Жадановеком, возможно, в самом деле проглядывали какие-то неблагоприятные, по их понятиям, симптомы. Юноша — «слишком серьезный и скрытный», без обычной для этой среды тяги к «жеребятине» в разговорах, без барских замашек («нет военного духа», нет «военной косточки»), но зато с устремлениями, уместными у какого-нибудь гимназиста или студента, — во всем этом воспитатели провидели будущего бунтаря, революционера. Они были правы: Жадановский и стал таким уже очень скоро.

15 июня 1905 года кончаются полутюремные годы им детского корпуса и инженерного училища, наступает выпуск в офицеры! Начинается самостоятельная взрослая жизнь «зеленого» подпоручика пятого понтонного батальона Бориса Жадановского.

Эта самостоятельная взрослая жизнь продолжается всего несколько месяцев — меньше полугода...

В ноябре 1905 года в Киеве вспыхнуло восстание саперов. Восстание подняли две роты четвертого и пятого понтонных батальонов. В 5 часов восставшие роты, вместе с присоединившейся к ним военно-телеграфной ротой четырнадцатого саперного батальона, с ружьями и боевыми патронами двинулись к казармам пятого понтонного, четырнадцатого и семнадцатого саперных батальонов и Курского пехотного полка. К ним присоединилось еще несколько рот. С музыкой духового оркестра они направились на станцию Киев-Вторая, а оттуда — к городу.

Одним из организаторов и руководителей этого восстания был Ф.Н. Петров.

Впереди восставших солдат, с шашкой наголо, шел юный подпоручик Борис Жадановский.

Около Еврейского базара восставшие были встречены высланной против них оставшейся верной царизму частью Миргородского полка. С обеих сторон начали стрелять, — произошел уличный бой, было убито и ранено около ста человек — солдат и посторонней публики.

Восстание саперов было разгромлено. Борис держался до последней возможности. Он принимал на себя огонь, чтобы прикрыть отступление товарищей и дать им возможность спастись. Когда Борис упал, тяжело раненный в грудь, товарищи подобрали его и скрыли на ферме Политехнического института, чтобы потом переправить за

границу. Но заживление раны затянулось из-за гнояного процесса, Борис был обнаружен на квартире у скрывавшего его заведующего фермой Богоявленского и арестован. Военный суд приговорил его к расстрелу, замененному затем пожизненным заключением в каторжной тюрьме.

Начались для Бориса годы странствия по тюрьмам Российской империи. За 12 лет — с 1905 по 1917 год — он прошел полный курс знакомства с худшими, самыми страшными и жестокими каторжными тюрьмами.

В Шлиссельбурге Борис снова встретился с Ф.Н. Петровым. Раненный в Киеве двумя пулями, спасенный товарищами, Ф.Н. Петров успел после этого свершить много больших дел, работая в военно-революционной организации в Варшаве. Там его арестовали, присудили к семи годам каторжных работ и заключили в Шлиссельбург.

Читатель этой книги познакомился с Борисом Жадановским в Шлиссельбурге, где он неустанно, изо дня в день, воевал с начальством, отстаивая честь и достоинство революционера. В предыдущей главе мы расстались с ним в момент, когда его, вместе с тринадцатью товарищами, зачинщиками протеста, увезли на тюремном катере прямо из карцера Шлиссельбургской тюрьмы в неизвестном направлении.

Ожидать чего-либо хорошего им, конечно, не приходилось. Однако даже и Жадановскому, достаточно искушенному в российском тюремоведении, не приходило в голову то, что их ожидало!

Борис ехал из Шлиссельбурга в новую тюрьму не один. Не только оттого, что с ним вместе ехало тринадцать братьев по судьбе. Нет, его сопровождала еще и особая месть начальника Шлиссельбургской тюрьмы Зимберга. Зимберг не прощал Борису Жадановскому своего унижения. Ведь он, начальник тюрьмы, вынужден был до некоторой степени считаться с этим «ничтожным арестантом»! Он, Зимберг, говорил с Борисом, избегая местоимений «ты» и «твой»! Он ни разу не применил к Жадановскому розог, хотя один бот знает, как жаждала этого низкая и мстительная душа Зимберга! Зимберг отказывал себе в этом удовольствии оттого, что боялся самоубийства Жадановского, боялся общественного резонанса, газетной шумихи. Зимберг боялся, и этого страха своего он тоже Борису не прощал!

Отправляя Бориса с товарищами из Шлиссельбурга, Зимберг дал волю своей затаенной ненависти: он послал им вслед «рекомендательные письма», которые готовили им лютое мучительство во всякой новой тюрьме, куда бы они ни попали.

Привожу выдержки из этих рекомендаций. Зимберг писал их самолично, сохраняю его стиль, его орфографию и знаки препинания.

В графе «сведения о поведении, характере, отношении к администрации, надзору и заключенным; прилежание к работе; выдающиеся случаи во время содержания в тюрьме (побеги и пр.)» Зимберг написал о Жадановском:

«Поведения очень плохого, отношение к чинам администрации и надзору самое непокорное и непочтительное, иногда даже грубое, имеет влияние на прочих арестантов и подчиняет их своему взгляду, подбивает к протестам и возмущает против тюремного строя. Предъявил ряд незаконных требований и получив отказ отказался подчиниться установленному режиму и подбил к этому других арестантов».

Особая секретная бумага рекомендовала начальнику Санкт-Петербургской конвойной команды:

«В особенности надзор должен быть усилен за арестантами Борисом Жадановским и Захарией Циомой, осужденными в каторжные работы без срока и склонными к производству беспорядков и нарушению тюремного режима».

Зимберг доставил себе еще одну мстительную радость. Бориса Жадановского, как тяжелотуберкулезного, содержали в Шлиссельбурге без кандалов. Теперь, перед отправкой из Шлиссельбурга, его снова заковали. Сделали это с особой жестокостью, применив овальные ручные кандалы. Такие не могли вращаться около запястья, как браслеты, и каждое движение рукой причиняло боль.

Уже по дороге стало известно, что всю группу бывших шлиссельбуржцев направляют в город Орел. Что такое Орловская тюрьма — Орловский каторжный централ, — знала вся Россия.

«Мы провели целый день в общей камере в Москве, — писал в письме Борис. — И, господи, сколько разговоров, шума было бы при этом в других условиях! Ведь все мы были «свои», все люди страшно интересные друг для друга. Но настроение было не для разговоров. Каждый чувствовал, что он идет на смерть, только это было, конечно, у

всех на уме, а если говорили, то о пустяках, стараясь не выдавать своей тоски. Каждый чувствовал, что он не может быть искренним, и все предпочитали молчать. В немногих, как бы случайно брошенных словах высказалась дальнейшая тактика: сразу же заявить решительный протест и, в случае действительного существования систематических избиений и ругани, объявить голодовку хотя бы в единственном числе».

Такими, изможденными еще после шлиссельбургского трехнедельного карцера, с изжелта-серыми лицами, в изорванной арестантской одежде, но твердо решившимися на отпор и самозащиту, их и повели по улицам Орла.

В Орловском центре сразу по прибытии шлиссельбуржцев отправили в баню. Велели раздеться во дворе, перед баней, и входить по одному. Сразу же из бани послышались возмущенные крики тех, что вошли первыми. Оказалось, их подвергали перед баней обыску — якобы для обнаружения сокрытых ценностей. Для этого каждый должен был стать в унижительную позу. Грязными пальцами надзиратели лезли арестантам в рот, нос, уши, искали долго, нарочито оскорбительно. Сопrotивлявшихся избивали.

Когда очередь дошла до Бориса, он отказался подчиниться. Но то ли тюремщикам надоела забава — Борис шел последним в очереди, — то ли в самом деле произвели впечатление решительность его лица и всей фигуры, — надзиратели махнули рукой: «Черт с тобой! Проходи!»

Это было первой победой Бориса, но и — последней...

Далее произошла его встреча с начальником Орловского центра, всероссийски известным палачом и садистом, штабс-капитаном Синайским.

Тут все пошло привычно, как по-писаному!

Вопрос Синайского: «Как твоя фамилия?»

Ответ Бориса: « Попрошу говорить мне «вы», а не «ты»!

Страшный удар Синайского, от которого Борис едва удержался на ногах, — и тут же Борис бросился на Синайского, угрожающе поднимая скованные руки... Всей сворой надзиратели набросились на Бориса, как голодные волки! Они осыпали его ударами, топтали ногами; последний из волков, опоздавший к началу расправы надзиратель, ударил Бориса в грудь рукоятью шашки.

Страшно избиты, издевательски истоптаны ногами были и остальные шлиссельбуржцы, товарищи Бориса Жадановского. Истязания длились беспрерывно в течение двух недель — палачи работали не торопясь, с прохладцей, — за такой срок они успели многое!

Как это происходило, рассказал один из шлиссельбуржцев, переведенных в Орловский централ, — Николай Билибин.

Пытка началась с того, что в течение долгого времени в его камеру доносились страшные вопли и крики товарищей, истязаемых в одиночку по соседним камерам. Затем к Билибину ворвалась вся разбойничья орда надзирателей, младших и старших, под предводительством помощника начальника тюрьмы. Осыпая Билибина ударами и руганью, к нему стали применять пресловутую «вязку петушком» (заключенные называли это «вязка уткой»): скрутив веревками руки, привязывали их к ногам, отведенным назад наподобие салазок. В таком положении его стали, приподнимая вверх, бросать со всего размаха грудью об пол — и не однажды, не дважды, а много раз. Его били ключом под ребра. Боль была нестерпимая, Билибин стал кричать. «Ага! — с удовлетворением сказал помощник. — По-французски заговорил! Вежливого обращения хочет, собака!» Затем, осветив лампой лицо Билибина, помощник удивился: «Что же личико-то какое чистое?» Билибина ткнули лицом в пол и протащили по всему асфальту одиночной камеры, пока лицо не превратилось в оплошную ссадину... Затем его еще раз подняли и бросили в угол, лицом в пол.

То же — с разными вариациями — было применено ко всем шлиссельбуржцам. Бориса же за то, что в первый день он бросился на Синайского с угрожающе поднятыми скованными руками, начальник велел наказать еще и особо — поркой. На это Борис ответил голодовкой. Когда он объявил об этом, надзиратели пришли в необыкновенно веселое настроение. Подумать только, такой мозгляк, истощенная тень человека, полутруп — а туда же! Голодовку! Еще чего не придумаешь ли?

Надзиратели хохотали, держась за бока!

Однако к Борису присоединились и остальные шлиссельбуржцы. Все они отказались принимать пищу.

На пятые сутки голодовки Борис свалился.

На седьмые его пришлось отправить в тюремную больницу. Его поволокли туда на одеяле, голова его при этом моталась из стороны в сторону, билась об пол. Служители тюремной больницы хотели поднять Бориса, положить на койку, но старший надзиратель Калафута не разрешил: «Пускай сам встанет!»

Борис ослабел от семидневной голодовки, не мог встать. Но лишь после ухода надзирателя Калафуты служители больницы помогли Борису лечь на койку.

После Бориса в тюремную больницу стали приносить и остальных шлиссельбуржцев. Все они были наполовину мертвы.

Голодовка кончилась на семнадцатые сутки. Трудно поверить, что Борис, такой слабый, больной, истерзанный предыдущей расправой, вынес шестнадцать суток добровольно на себя принятой пытки голодом!

Возможно, даже такая страшная голодовка дала бы лишь малоощутимые результаты, а то и вовсе осталась бы без всяких последствий. Но в это время произошло событие, не предвиденное истязателями из Орловского центра и грозившее им большими неприятностями. Каким-то непостижимым образом — можно сказать, чудом! — прорвались из тюрьмы на волю два письма Николая Билибина с подробным описанием всего того, что было учинено в Орловском центре над четырнадцатью заключенными-шлиссельбуржцами. Письма эти были напечатаны в Париже, сперва в русском нелегальном органе, а затем и по-французски, в легальной парижской прессе. В Петербурге шестьдесят четыре депутата Государственной думы внесли запрос министрам юстиции и внутренних дел: «о зверских истязаниях, результатом которых были голодовка и самоубийства среди заключенных». Прогрессивная русская печать опубликовала этот запрос и в течение некоторого времени широко обсуждала его.

Скандал получился оглушительный! Все это несколько умерило рвение истязателей в Орловском центре. Не то чтобы они вовсе прекратили пытки и избиения, — до этого, конечно, не дошло. Они не столько ослабили свои кровавые действия, сколько законспирировали, перестраховали их. Можно определить это так: до этого времени истязания совершались почти открыто, изливались на заключенных

широко, щедро — «раззудись, плечо! размахнись, рука!». Теперь эту деятельность стали скрывать, наводить на нее невинный грим.

«Побои? пытки? Истязания? Какой вздор! В первый раз об этом слышим... Большая смертность среди заключенных? Что поделаешь, — тюрьма! Вот, взгляните, отчет по тюремной больнице Орловского централа. В графе «Причины смерти» приведены врачебные диагнозы, — видите? «Пневмония»... «туберкулез»... «цинга»... Что поделаешь, — тюрьма! Спокон веку это типические тюремные болезни, не мы их выдумали! А это? Это врачебное заключение по поводу самоубийства... Что поделаешь! Классические тюремные происшествия: вешаются, вскрывают себе вены... Не с нас это началось, не нами и кончится!»

Да, все это было. Было — и не было. Бывало так, но бывало и иначе. Конечно, от пневмонии заключенных не убережешь, в особенности если, как в Орловском централе, применять осенне-весеннюю пытку холодом: при одеялах из легкой бумажной материи, да при широко распахнутых настежь окнах, которые запрещено запирать под страхом избиений! Как в такой обстановке обойтись без поголовных заболеваний пневмонией?!

Но если имеется официальный документ — заключение тюремного врача, тут уж никому не подкопаться! И точно так же остальные диагнозы — «туберкулез», «цинга», как и врачебные заключения, констатирующие смерть от самоубийства, — все это надежно страхует тюремную администрацию от возможных обвинений в преступных действиях.

Прочитайте то, что пишет профессор М.Н. Гернет в своем капитальном труде «История царской тюрьмы», и перед вами черным по белому предстанет правда: врачебные диагнозы, объясняющие «причины смерти» арестантов Орловского централа, — лишь камуфляж, прикрывающий систематическое уничтожение людей пытками и побоями. Подпись врача здесь — щит, за которым прячется преступление.

Эту подпись надо огласить широко, это имя надо покрыть заслуженным вечным позором! Это врач Орловского централа Адам Рыхлинский. Его уже, вероятно, давно нет в живых. Но если есть имена, заслужившие вечную славу, то есть и такие имена, вокруг которых должна быть возведена стена (отчуждения и проклятья — на

века. Таково и это черное имя: Адам Рыхлинский, врач Адам Рыхлинский.

Пусть мне разрешат сделать здесь небольшое отступление.

На страницах «Истории царской тюрьмы» профессора М.Н. Гернета мне вдруг бросилась в глаза знакомая фамилия: студент Альберт Сапотницкий.

Альберт Сапотницкий... Студент... Да это Аля!

Веселый, всегда растрепанный Кудрявич! Новгородский наборщик Сударкин называл его шутливо: «Саматоха»...

Что сообщает о нем профессор Гернет? Арестованный, как активный член петербургской боевой и военной организации РСДРП, Альберт Сапотницкий был осужден по процессу большевиков II Государственной думы. В Орловский централ Аля Сапотницкий был привезен 11 июля 1909 года. Но уже 29 июля, то есть спустя 18 суток, умер в тюрьме. Врач Адам Рыхлинский констатировал самоубийство (повешение).

Эту версию — «повесился в тюрьме» — я 50 с лишним лет назад слыхала от товарищей и от родных Али Сапотницкого. И только из книги профессора М.Н. Гернета я узнала правду: Алю замучили в тюрьме, прикрыв это ложной версией о мнимом самоубийстве.

Последний человек, видевший Алю Сапотницкого за несколько дней до его гибели, Самуил Файнберг, писал (письмо это было напечатано в № 46 газеты «Будущность», оно хранится в фонде Орловского централа московского Музея Революции СССР):

«Альберт был бледен, лицо его было изжелта-синее, буквально измученное, избитое, кривая усмешка трогала его губы, когда он говорил мне: «Как дальше жить будем, не знаю! Черт знает, что творится. Меня уже били четыре раза после приемки».

«До свидания! Еще встретимся!» — говорил мне и моему мужу Аля Сапотницкий, провожая нас в 1906 году из Новгорода. — Ждите — отыщется след Тарасов!» — шутливо кричал он нам в окно вагона.

Вот и встретились. Вот и отыскался след Тарасов...

Таков был тот последний круг мучений Дантова ада в Орловском централе, куда попал Борис Жадановский. Какое-то, правда, минимальное, улучшение жизни заключенных получилось после разоблачений в печати и запроса депутатов Государственной думы.

Для Бориса Жадановского это проявилось в том, что хотя ему и продолжали время от времени грозить поркой, но это оставалось только угрозой и в исполнение не приводилось. Боялись общественного скандала! Да, впрочем, и без розог в арсенале тюремщиков имелась совершенно достаточная шкала разнообразного, дьявольски утонченного мучительства, физического и нравственного.

Довольно привести краткую справку о взысканиях и наказаниях, наложенных на Бориса за полтора года в Орловском центре (с июля 1912 года по январь 1914 года).

За этот срок он:

1) провел — в разное время — в карцере, темном и светлом, в общей сложности 2 месяца (из 18-ти);

2) был лишен переписки и свиданий — в разное время — в течение 12 месяцев (из 18-ти);

3) был лишен — в разное время — права выписки продуктов из тюремной лавки в течение 5 месяцев (из 18-ти);

4) был лишен права чтения каких-либо книг, кроме «святого евангелия», — в разное время — в течение 6 месяцев.

Все эти полтора года Борис был в ручных и ножных кандалах, хотя, как тяжело больного туберкулезом, его обязаны были расковать.

Особенно тяжело было для Бориса лишение права переписки. Он любил мать, отца, сестер, брата, любил получать и писать письма. А тут часто случалось так: ему показывали пачку писем, полученных за долгое время на его имя, но не отдавали: «в наказание за строптивость». Иногда удавалось отправить письмо с оказией, нелегально, но это бывало очень редко. Когда кто-нибудь из товарищей уходил из тюрьмы — отбыл срок или направлялся в ссылку (бессрочными, «вечниками», были только Жадановский и Циома), он, по просьбе Бориса, писал его матери, Ольге Николаевне Жадановской, — отец к тому времени уже умер. Письма этих товарищей полны любви к Борису, восхищения перед его мужеством и тревоги о его здоровье, его жизни, о дальнейшем пребывании его в Орловском центре.

«Так как положение Бориса скверное, — писал один из товарищей из Сибирской ссылки, — «улучшения не видать, он просит похлопотать о замене ему каторги на тюрьму, — туберкулезным заменяют по просьбе вечную каторгу на 25 лет тюрьмы. Сам он не

может подать прошение по этому поводу. Ему помешает орловская администрация, так как он непокорный. Сделайте все, что можете, иначе он погиб!»

Другой бывший шлиссельбуржец, деливший с Борисом ужасы Орловской тюрьмы, — Григорий Курочкин — тоже по выходе из тюрьмы написал Ольге Николаевне о Борисе:

«Он не сдастся ни перед кем. Чуткий и отзывчивый, всегда готовый реагировать на отрицательные стороны тюремной жизни, он, как Протей, черпает свою силу в сопротивлении, в борьбе с произволом этих апостолов гнета и мордобития. Он не попрали в себе человека, не склонил головы своей перед гнусными насильниками, потерявшими человеческий облик».

Сама Ольга Николаевна Жадановская познала на себе в полной мере жестокость тюремщиков. На тревожный письменный запрос о здоровье сына, направленный начальнику Орловской каторжной тюрьмы, Ольга Николаевна получила ответ, можно смело сказать, классический! Тут и, казалось бы, уважительное большое «В» в словах «Вы» и «Ваш», и глубочайшее пренебрежение, непробиваемая броня бюрократического равнодушия, и вместе с тем хитрость охранников, желающих использовать для своих целей даже высочайшее из человеческих чувств — материнскую любовь.

Вот он, этот подлинно бессмертный эпистолярный перл!

«Вследствие письма Вашего, по приказанию господина начальника, уведомляю Вас, что здоровье ссыльнокаторжного Жадановского посредственное, так как Вам должно быть известно, что Жадановский болен туберкулезом легких. За неподчинение установленным тюремным правилам Жадановский лишен свиданий и переписки впредь до полного исправления. Разрешение переписки и свиданий зависит от Господина Начальника, и он, до тех пор, пока Жадановский не будет подчиняться тюремным правилам, этого не разрешит.

Просить о разрешении свидания можно кого угодно, но Начальник всегда будет говорить о нежелательности свиданий. К Борису Жадановскому может быть пропущено лишь одно письмо от Вас, при условии, если в нем будет выражено пожелание о подчинении тюремному режиму».

Ольга Николаевна приехала в Орел. Здесь ей повторили требование, чтобы она написала сыну «увещание». Матери захотелось «перехитрить» тюремщиков: под видом требуемых увещаний, вернее рядом с ними, написать сыну хоть самые краткие и беглые сведения о жизни его семьи. Ведь он давно томился без писем и ничего ни о ком не знал! Однако тюремщики перехитрили Ольгу Николаевну Жадановскую: они передали Борису только тот кусочек ее письма, в котором было «увещание», — остальное уничтожили!

На это Борис вскоре ответил ей письмом, пересланным нелегально, нацарапанным на клочках папиросной бумаги (привожу это письмо, как и некоторые предыдущие, с сокращениями):

«Милая, родная моя мамочка! Итак, ты, бедная, приезжала в этот проклятый Орел и беседовала с этим отвратительным человеком. Бедная мама!.. Здоровье у меня не так плохо, как ты, мамочка, думаешь. Вообще могу сказать, не кривя душой, что оно не хуже, чем в Шлиссельбурге. А условия здесь действительно страшно тяжелые. Я не стану этого скрывать. Этот новый начальник (сменивший Синайского. — А.Б.) весьма большой негодяй. Но и на нем оказывается дух времени. Так, когда он ругается, то делает это очень «культурно», по его мнению, — хотя ругань самая отвратительная, но произносит он ее тихим голосом. Духом я так же бодр, как всегда, и даже теперь моложе, чем когда бы то ни было. Уверьте барышень, что, когда я выйду на волю, то не ударю лицом в грязь ни в венском (вальсе. — А.Б.), ни в мазурке... Ах, как это они выдумали лишить меня переписки! Ужасно тяжело это лишение. Я не говорю о моем поведении, я уверен, что вы прекрасно меня понимаете: не могу же я подчиняться правилам, направленным исключительно к унижению человеческого достоинства... Ты, мама, писала в письме против этого, но я уверен, что ты прекрасно понимаешь в этом меня, как я понимаю тебя, моя хорошая... Итак, вопрос о переводе меня в какую-либо другую тюрьму можно считать окончательно лопнувшим. Ишь ведь, выбрали наихудшую и из нее не выпускают!..»

И все-таки... «Все-таки она вертится!» Сколько веков повторяют люди этот торжествующий крик великого ученого! Святейшая инквизиция хотела заставить его отречься от своей правды, признать, будто Земля не вращается вокруг Солнца. «Нет, — твердили ему заплечных дел мастера, — нет, Земля не вертится!» Но, измученный

тюрьмой, истерзанный пытками, — а отцы-инквизиторы умели это делать не хуже, чем штабс-капитан Синайский! — ученый вновь налился волей, силой, страстью и крикнул своим палачам: «А все-таки она вертится!» Это был крик победы Человека над человекообразными, крик торжества несломленного духа, непокорной мысли...

«А все-таки она вертится!» — думаешь сегодня с волнением и гордостью, когда вспоминаешь Бориса Жадановского. В страшном Орловском центре, пытаемый голодом, холодом, обезьяньей жестокостью тюремщиков, карцером, лишением подолгу книг, вестей от родных, он все-таки, наперекор всему, думал, учился, творил, изучал три иностранных языка, перевел на русский язык капитальный труд Роуз Болла — «История математики».

Об этом думаешь с великой гордостью за человека! Поистине, идя дорогой пессимизма, настоящие люди приходят к подлинному праву на оптимизм и приводят к этому других!

В связи с этим хочу привести слова Бориса из письма его к матери. Прочитав произведения Леонида Андреева «Сашка Жигулев», «Жизнь человека» и др., Борис пишет:

«Он — талантливый писатель, и, когда такой талантливый пропитан насквозь каким-то безысходным пессимизмом, ему надо противопоставить свою жизнерадостность. Этого последнего элемента у меня, думаю, достаточно, но все же лучше не растрачивать его так, зря, в такой неблагоприятной обстановке. Бог с ним, пусть им наслаждаются те, с кем он поет в унисон, а мне он дал здесь несколько черных часов...»

Революционер Борис Жадановский, имевший право на пессимизм, заплативший за это право годами невероятных страданий, отвергал это право. В «пессимизме» модного писателя Леонида Андреева он увидел неискреннюю позу, кокетство человека благополучной и благоустроенной жизни — и не принял этого писателя.

Оба друга, Борис Жадановский и Владимир Лихтенштадт, — люди одних убеждений, одной героической самоотверженности в революционной борьбе, люди не сломленного в испытаниях духа — имели не только сходную судьбу, но и одинаковый конец.

В начале революции казалось: вот теперь сбудутся пророческие слова Пушкина, обращенные им к декабристам, «во глубину

Сибирских руд»:

*Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут!*

Так оно и было поначалу. Пали оковы, свобода радостно встретила освобожденных борцов своих у входа в разрушенные темницы, и братья отдали им меч... Но дальше все пошло иначе, по другой исторической логике, которой не знал и не мог знать Пушкин. Меч, отданный братьями, еще рано было вешать на стену или сдавать в музей, — этим мечом еще надо было драться. Борьба не была кончена, — она продолжалась «на обломках самовластья». И Борис радостно, упоенно бросился в самую гущу борьбы.

Выйдя из тюрьмы, Борис представлял собою тень человека. Горько смотреть на его последний фотоснимок, горько видеть это милое лицо, еще молодое, преждевременно состарившимся, седину на висках. Казалось, теперь следовало ему подумать о себе, отдохнуть от всего пережитого, поправить свое здоровье.

Но так же, как и его другу Владимиру, Борису было «некогда» заниматься собой. Мы видим его после революции в гуще самых разнообразных дел, на самых разнообразных должностях. Он гласный Ялтинской городской думы, товарищ председателя горисполкома Ялтинского совета, редактор «Известий Ялтинского Совета» (позднее — «Ялтинская правда»), и, наконец, он на труднейшем и ответственнейшем посту продовольственного комиссара Ялты и уезда.

Весной 1918 года военное положение Крыма стало угрожающим. Соединенные части гайдамаков и немцев, поддерживаемые местными белогвардейцами, взяли Симферополь. Обороноспособность советского Крыма оказалась явно недостаточной. Красная гвардия была слаба: рабочих в Крыму было мало, а всякого сброда налетело много.

Был создан Социалистический отряд, преимущественно из освобожденных революцией бывших политических заключенных и политических каторжан. В моральном отношении это была сила, но

большинство из них не умели обращаться с оружием, никогда не обучались военному строю.

Борис, как бывший офицер, возглавил этот Социалистический отряд. Если бы отряд удалось обучить, из него, несомненно, выковалась бы надежная и морально стойкая воинская часть. Но для правильной военной учебы не было ни времени, ни возможностей. Занятия с бойцами Социалистического отряда велись в лихорадочной поспешности, — гайдамаки и немцы приближались, они уже заняли Массандру, вблизи Ялты.

Борис повел против них Социалистический отряд с влившейся в него частично Красной гвардией. Начало было удачным — Социалистический отряд снова отбил у гайдамаков Массандру и деревни в направлении, Алушты.

27 апреля 1918 года в стычке с неприятелем Борис, раненный в ногу, отполз в сторону от дороги. Подбежавший к нему гайдамак разбил ему лицо ударом приклада. Борис был еще жив. Его доставили на санитарный пункт, там перевязали и повезли на автомобиле в Алушту. По дороге туда он скончался.

Как лермонтовский Мцыри, Борис Жадановский «мало жил и жил в плену». После короткой поры детства все отрочество и юность он провел в закрытых интернатах военных учебных заведений: сперва кадет в корпусе, потом «юнкер рядового звания» в инженерном училище. Отрочество и юность прошли под муштрой, военной муштрой царской армии, безжалостно и тупо подстригавшей нежную зелень молодых деревьев. По выходе из училища юный офицер Борис Жадановский прожил на воле, на свободе, всего около полугода.

За этим последовало двенадцать лет заточения в самых жестоких каторжных острогах.

Наконец в 1917 году снова свобода. И снова ненадолго — только на один год.

Итого дано ему было свободной сознательной жизни — до и после революции — всего полтора года. Но прожил он жизнь солдатом революции, солдатом большевизма. Таким и погиб. И гибель его — «на валу мировых баррикад» — достойно увенчала подвиг его жизни.

Приношу глубокую благодарность сем, оказавшим мне помощь в работе над «Цветами Шлиссельбурга». Благодарю директора Музея

Революции СССР А.И. Толстихину и научного сотрудника этого музея В.С. Михайловскую. Также благодарю начальника Центрального Государственного военно-исторического архива Главного архивного управления при Совете Министров СССР И.С. Назина и заведующую читальным залом Н.П. Жуковскую.

Благодарю бывших политкаторжан и старых большевиков, в особенности Г.М. Коффа, а также родственников бывших илссельбуржцев — Н.Ф. Яницкого и Л.А. Юрчевскую, поделившихся со мной своими личными воспоминаниями. Также благодарю лейтенанта милиции В.В. Кириченко, приславшего мне сделанные им прекрасные фотоснимки с памятных мест.

Самое большое, самое горячее спасибо Анне Моисеевне Глузман за самоотверженную дружескую помощь в работе с архивными документами.

Table of Contents

Александра Яковлевна Бруштейн Цветы Шлиссельбурга

От автора

1. Уездный городок под Петербургом

2. Сбор цветочного меда

3. «Старый Шлиссельбург»

4. «Новый Шлиссельбург»

5. Негласный мир хороших людей

6. Мастерские — выписка продуктов — библиотека

7. Соборное карцерное сидение

8. Люди "нового Шлиссельбурга" "Некогда! Некогда!" (В. Лихтенштадт).

9. Люди "нового Шлиссельбурга" «Борись, Петрович!» (Б. Жадановский).

